АНЯ ВЬЁРИ
ТЫ ТОЛЬКО
Вернись

# Аня Вьёри
# Ты только вернись

*https://litres.ru/74658992*
*SelfPub; 2026*

## Аннотация

— Ты не будешь работать волонтёром!

— Это не вам решать!

— Мне. Я хозяин этого отделения.

— Не много ли вы на себя берёте, доктор?

Я пришла в военный госпиталь, потому что это была моя последняя ниточка.

Последняя надежда.

И встретила его.

Адама Тарханова.

Человека, которого не могла видеть без дрожи.

Жёсткого. Невыносимого. Слишком настоящего.

— В этом отделении будет работать кто-то один! Или ты, или я!

Вот только итог оказался странный.

Ушел он.

А я... Я поняла, что без него все не имеет смысла и решилась на отчаянный шаг. Шаг, который взорвал нашу реальность.

# Содержание

Глава 1 4
Глава 2 9
Глава 3 13
Глава 4 17
Глава 5 26
Глава 6 34
Глава 7 42
Глава 8 60
Глава 9 74
Глава 10 82
Глава 11 89
Глава 12 95
Глава 13 103
Глава 14 112
Глава 15 121
Глава 16 132
Конец ознакомительного фрагмента. 133

# Аня Вьёри
# Ты только вернись

## Глава 1

***Ника***

— Куда в палату без бахил?!

Голос у меня получается слишком громким.

Ну как слишком.

На весь коридор, наверное.

И на половину хирургии.

Но я уже не могу остановиться, потому что передо мной стоит мужчина. Огромный. Широкий. С очень прямой спиной и совершенно военной выправкой. На фоне больничных простыней, серых лиц и шуршащих пакетов с перевязкой он выглядит почти неприлично здоровым.

И в обуви.

В уличной обуви.

У койки новенького.

На моём чистом полу.

Я же только что отмыла этот пол. Сама. До скрипа. До дурацкого счастья, что хоть здесь что-то могу сделать хорошо.

— Вы что, больничных правил не знаете? — продолжаю я, прижимая к груди тазик с полотенцами. — Здесь хирургия!

Тут люди лежат с полостными ранениями! Любая бактерия, любая зараза!

Мужчина медленно переводит взгляд вниз.

На свои ботинки.

Начищенные до блеска, кстати говоря.

Но это меня уже не останавливает.

Я стискиваю зубы и сильнее прижимаю тазик к груди.

В палате становится так тихо, что слышно, как Кирилл у окна пытается не подавиться смехом.

Юрь Петрович смотрит на меня как на дурочку малолетнюю.

У Сашки в глазах почти благоговейный ужас. Кажется, он уже мысленно отпевает меня вместе с тазиком, полотенцами и моим санитарным праведным гневом.

— И вообще, — добавляю я уже чуть миролюбивее, потому что тишина получается какая-то подозрительная. — Я тут только что всё помыла, а вы топчете.

Мужчина смотрит на меня.

Не смущённо.

Нет.

Он злится.

Тихо так злится. Опасно. Как люди, которым обычно не делают замечаний. Особенно девицы с тазиками.

— А вы, — произносит он с плохо скрываемым раздражением, — хорошо работаете.

— Пока никто не жаловался!

Я ставлю таз на стул у кровати новенького.

Боец только утром поступил. Голову помыть попросил. Волосы постричь. И я помою, и постригу. Потому что если человек просит привести в порядок голову, значит, ему очень надо снова почувствовать себя человеком.

— Так хорошо работаете, что вас хоть награждай, — язвительно продолжает мужчина.

И смотрит на меня как на что-то неуместное.

Ну надо же.

— А вы кто тут вообще такой, чтобы меня награждать?

Он вскидывает брови.

— Я? Врач, в чьём отделении вы пытаетесь работать.

И проходит мимо меня к двери.

Не смотрит.

Демонстративно.

Дверь распахивает, шагает в коридор — ровно, резко, как на плац.

А я остаюсь.

С тазиком.

С полотенцами.

И с внезапным ужасом, который холодом лезет под рёбра.

В чьём отделении.

Пытаетесь работать.

Пытаетесь.

Да я не пытаюсь! Я работаю! Волонетрю тут уже почти две недели. Прихожу сюда после учёбы. Когда на два часа, когда

на три. Иногда уже после восьми, когда врачи расходятся, а отделение становится тише.

Не легче — тише.

В этой тишине и работаем. Кого помыть, кого постричь, кому постель поменять. А кого просто выслушать иногда.

Мне нельзя! Мне вылететь отсюда никак нельзя! Эти ребята, которые только что с передовой, мой последний шанс! Моя единственная ниточка!

Поднимаю глаза на своих бойцов.

Они смотрят на меня, кто с насмешкой, кто с удивлением.

А Юрь Петрович так просто у виска пальцем крутит!

– А это кто? – спрашиваю, чуть не плача.

– Это, дорогуша, – откидывается на своих подушках балагур Сашка, – Тарханов Адам Рустамович. Заведующий отделением и ведущий хирург. Местный Царь и Бог!

Бог…

Боги редко ходят по больничным коридорам.

Они, обычно сидят где-то наверху и помалкивают. Нет им никакого дела до простых смертных.

А тут…

Тут полно смертных. Самых что ни на есть простых…

– А почему же, – пищу я сдавленно.

– В командировке он был, – Юрь Петрович кивает на окно, – Там, – закатывает глаза недвусмысленно.

И меня вдруг обдает волной жара…

Там…

В командировке!

Врач!

Хирург.

Через его руки проходят те, кого вытаскивают оттуда.

Он мог слышать фамилию.

Мог видеть документы.

Может знать…

Может сказать мне хоть что-нибудь.

Я уже почти срываюсь к двери.

К нему.

За ним.

Он знает… Может… Должен…

Он!

И я уже почти срываюсь на выход, как слышу в спину недовольное:

– Э! А постричь?

.

# Глава 2

***Адам***

Бахилы!

Я.

Мне.

Черт.

Да у меня ботинки, наверное, чище, чем все эти бахилы вместе взятые! Да что б я!.. Да я…

Да черт.

В голове всё ещё не больничный коридор. В голове — палатка, генератор, свет налобника, чужая кровь на перчатках и короткое: “следующего”. Там никто не спрашивал про бахилы. Там спрашивали, дышит или нет.

А здесь девчонка с косичками орёт на меня из-за ботинок.

И права, зараза, что б ее.

Я зашел в палату в уличной одежде и уличной обуви.

Ну блин.

Зашел.

Косяк, как есть.

И девчонка подметила.

Дерзкая, тонкая, звонкая. Глаза горят, скулы такие, что сейчас порежешься.

И этот голос так и звенит в голове. “Куда без бахил!” Будто не замечание сделала, а скальпелем по стеклу провела.

Бахилы… Смешное слово из нормальной жизни

Да в жизни я их не носил!

Ну не успел переодеться! Зашел в палату! Этот… Костенко… Я ж ему осколок из позвоночника доставал, я ж должен был посмотреть… Шевелится! Реакции ног есть. Шевелится!

А тут…

Приехали, Адам Рустамович. Дожил. Волонтерша с косичками учит тебя санитарному режиму.

И, что самое неприятное, учит правильно.

– Елена Степановна! – окликаю старшую.

Голову от журнала подняла, встала…

Идет ко мне. Спокойно, без суеты. Быстрым, привычным шагом. А глаза влюбленные, будто либо отца, либо сына с войны живым встретила…

Эх…

Никогда к этому не привыкну.

К этому неприкрытому благоговению в глазах.

Да, я хороший хирург. Но я же просто хирург!

А они…

– Адам Рустамович? – смотрит на меня с готовностью отвечать на абсолютно любые вопросы.

Ждет.

Слушает внимательно. Очень внимательно.

А я, наоборот, раздражаюсь.

Нет, я не цербер и не тиран. Хотя успел тут заработать

себе специфическую репутацию.

Просто я слов на ветер не бросаю. И повторять не люблю. В отделении экстренной хирургии это не прихоть. Это жизненно важный порядок.

– Это что за чудо у нас там в пятой палате? – киваю на дверь у себя за спиной, – С косичками.

– А! – пытается улыбнуться моя старшая, – Девочка, волонтер! Вероника Белова. Ника. Она студентка, будущий педагог, – голос Елены Степановны вдруг становится мягким, почти покровительственным, – Очень аккуратная и внимательная.

– Внимательная, – усмехаюсь одним уголком губ, – Это я заметил. Развелось их тут, – отворачиваюсь, – Волонтеров.

– Ну так рук не хватает, Адам Рустамович, – вздыхает старшая медсестра.

И она права.

Если капельницы, перевязки, уколы мы еще можем всем обеспечить, то помыть всех лежачих… Побрить… Постричь волосы, ногти…

Да много чего мы сделать не можем. И не должны, вроде как. Обычно это делают жены, матери, кто-то близкий… Только у меня тут пол отделения тех, кто лежит уже не первый месяц, а ни жены, ни матери рядом не наблюдается.

– Я пойду, – киваю своей старшей, – Если никаких вопросов нет…

– Адам Рустамович, – тут же спохватывается она…

И замолкает.

Понятно.

Вопрос не по медицине.

– Ну? – жду спокойно.

– У нас тут очень специфический больной появился, – и виновато поджав губы она протягивает мне карту, – Очень… – делает многозначительную паузу, – неудобный.

– Для кого неудобный? – спрашиваю грозно.

– Для всех, – чуть слышно отзывается старшая.

.

# Глава 3

***Ника***

– Ну что ты затылок дурацкий сделала?

Машинка замирает в руке.

Даже не из-за слов. Из-за интонации.

Опускаю ее и удрученно смотрю на бойца.

Тот самый новенький.

Молодой. Злой. Бледный от собственной ярости и беспомощности. И голос такой требовательный, обиженный, почти капризный.

Совершенно не к месту в памяти всплывает другой мужчина. Другой голос. Другие стены. И почти те же интонации:

*"Ты посмотри, как она по-дурацки сделала!"*

От этого совпадения аж мурашки идут по спине, и я растерянно отшатываюсь.

Терпи, Ника. Терпи. Тебе надо. Ты должна.

Но ребята в палате, видимо, по своему истолковали мою бледность.

– Слышь, мажор! – окликает новенького Юрь Петрович, – А ты откуда такой с понтами?

Язык мужской. Грубый.

Взгляды тоже становятся недобрыми.

И я понимаю почему.

Не принято у нас волонтерам такие замечание делать. Мы

же не парикмахеры. Как можем, так и стрижем. Не к свадьбе готовим, а чтобы у человека, который сутками лежит, голова не чесалась.

Новенького понять можно, я, наверное, насадку слишком маленькую взяла. Но…

– Из больнички выйдешь, в салоне пострижешься! – рявкает Сашка, – А тут просто "Спасибо" скажи и все!

Новенький недовольно сопит. Отворачивается.

Мужчины лежат старше его. И возрастом. И званием. Хоть они все тут и комиссованные, но пока еще в войсках.

Язык прикусил, а смотрит на меня волком.

Я даже не знаю, как к нему подступиться, чтобы закончить…

– Давайте, – присаживаюсь снова, – Я вот тут подправлю! Будет ровно, а через неделю уже чуть отрастет и будет хорошо.

Он недовольно надувает губы, но голову, как мне надо, поворачивает.

Я тихонько жужжу машинкой.

Снимаю лишнее, вывожу линию, чуть короче прохожу виски. Стараюсь смотреть только на волосы. Только на контур. Только на то, что могу исправить.

Выходит, в общем, прилично.

И новенький даже понемногу успокаивается.

А я, чтобы сгладить впечатление, начинаю разговор:

– А вы кем до войны были?

– Слесарем на заводе работал, – недовольно отзывается он.

Сашка фыркает. Юрь Петрович высокомерно усмехается.

Почти слышу их мысли… Работал слесарем, а запросы, как у киноактера.

Но злой парнишка тоже в чем-то прав.

Тяжело ему…

Очень тяжело.

– Интересно, наверное, было, – тяну, глядя исключительно на контур его волос.

– Ничего интересного! Сколько работал, столько и уйти мечтал! – фыркает боец.

– Вот и ушел! – недобро хмыкает Юрь Петрович.

Ушел. Это действительно ушел. Не знаю, сможет ли парень теперь на заводе работать. С одной ногой-то…

– А сюда откуда попали? – осторожно меняю тему.

– С Каменки, – бурчит боец.

Машинка замирает в моей руке.

— С Каменки? — вырывается у меня слишком громко. — С той самой Каменки?

Внутри все сжимается.

Сердце будто останавливается, дыхание застревает где-то под ребрами.

Там была его часть! Там стояла его часть!!!

А боец смотрит на меня подозрительно.

И затылок свой отодвигает подальше.

Да выключила я машинку, выключила.

— Я… — начинаю и сама слышу, как дрожит голос.

Замолкаю.

Закрываю глаза.

Кусаю губу до боли.

Нельзя.

Надеяться сейчас нельзя!

Я медленно выдыхаю. Беру себя в руки.

— Скажите, пожалуйста, — произношу я осторожно. Очень осторожно. Так, будто от громкого голоса может порваться последняя ниточка. — Вам не встречался Рогожин Марк?

.

# Глава 4

***Адам***

Палата.

Двухместная.

Полулюкс.

Он тут лежит один. Не блатной, нет…

Страшный.

Для всех страшный. И для персонала, и для мужиков, которые с поля боя придерживая собственные кишки выползали…

На койке молодой парень. Почти мальчишка. В карте указано двадцать пять, но на вид едва ли восемнадцать.

Лежит на спине, смотрит прямо перед собой. То есть в потолок. И монотонно и беззвучно шевелит губами.

– Че, куда смотришь?

Подхватываю от стенки стул, ставлю его рядом с койкой спинкой вперед, седлаю, как ретивого жеребца.

Худенький.

Его зовут Анатолий.

Толик мог бы садиться, перемещаться в кресле - каталке. Мог бы двигаться! Мог бы хотя бы смотреть не только в потолок.

Но Толик просто лежит. И внимательно смотрит в потолок.

– Я тебя спрашиваю? – чуть повышаю голос.

Его тонкие бледные губы замирают.

Толик не оборачивается. Но и не отвечает.

– С кем разговариваешь!

Все тем же, чуть нагловатым тоном начинаю я.

Мягко с ним не работает.

Пробовали.

И сестры мои, и реабилитация.

– Толик, с кем разговариваешь? – требовательно повторяю вопрос я.

Он молчит.

Я жду.

Считаю про себя удары пульса в висках.

Раз.

Два.

Три.

– С Богом, – едва слышно отзывается он.

Ура!

Черт возьми, ура!

Толик отзывается.

Значит, он все еще с нами…

– С Богом, – откашливаюсь, пытаясь скрыть радость в голосе, – И как? Он тебе отвечает?

– Нет, – вложив все свое отчаяние в это короткое слово отвечает Толик.

– Это хорошо, – киваю удовлетворенно.

– Хорошо? – переспрашивает Толик, все еще не поворачивая взгляда.

– Конечно, хорошо! – довольно киваю я, – Если б отвечал, пришлось бы тебя в дурку перевести, а там хирургического ухода нет! Беда б была!

Толик кривит губы и опять замолкает.

Но говорить с потолком больше не пытается.

Понимает.

Все он понимает.

Просто херово пацану.

– Анатолий, – начинаю я уже без наездов, – Ты так не делай! Сестры боятся.

– Чего бояться? – хмыкает он словно с вызовом, – Я же просто лежу.

Угу.

Парень просто лежит.

Он остался без обеих ног по бедро.

Мина.

Его привезли уже без конечностей.

Даже пытаться спасать было нечего. Только его жизнь. И с этим мы справились.

Справимся и с остальным.

– Толик, – начинаю снова немного с вызовом, – Ты в детстве чудовищ под кроватью боялся когда-нибудь? – изгибаю брови, словно спрашиваю что-то очевидное, – Ну, когда тебе было лет пять?

– Может быть, – топорщит он нижнюю губу все еще не глядя на меня.

– А чего боялся? – хмыкаю, – Там же никого не было? Пустота?

Толик молчит…

Но не просто молчит.

Он ждет, что я скажу дальше.

Значит, слушает.

– Неизвестности ты боялся, Толик, – произношу я тоном древнего старца, – Неизвестности. И сейчас ее боишься. И медсестры мои не понимают, что у тебя в голове творится, вот и боятся! Пожалей женщин, – прошу его по-свойски, – Ты же мужик.

Он будто вздрагивает.

Дергает кончиком носа.

Шумно сглатывает.

И впервые за весь разговор переводит взгляд и смотрит мне в глаза.

– Я не боюсь неизвестности! – произносит с пафосом, – Со мной как раз все ясно.

– Не-а, – щелкаю языком, – Не угадал!

Он молчит, но я прямо кожей чувствую его настороженность.

– Давай так, – я чуть склоняюсь, словно приглашаю Толика участвовать в заговоре, – Ты попробуешь подняться, а я попробую выбить тебе спецпротезы! На правую культю

можно. На левую, скорее всего нет, но на правую можно. – смотрю на парня скептическим взглядом профессионала, – Только дело хлопотное, – хмыкаю, – Придется с кучей персонала взаимодействовать, общаться, учиться на том протезе ходить…

– А… – мальчишка вдруг начинает звучать совсем по другому, – А деньги?

– Найдем! – отрезаю таким тоном, чтобы у него даже мысли об этом спрашивать не возникало, – Если ты садиться и спину тренировать начнешь, – изгибаю бровь, – То найдем.

***

Из палаты вылетаю весь на нерве.

Кулаки сжимаю, зубы стискиваю.

Мальчишка.

Совсем пацан.

Его на ноги не поставишь, он и жить больше не захочет!

Значит, надо! Значит, я должен! Он мне поверил! У меня и выбора больше нет!

Только вот не дарит таких протезов наше государство. Сложная это штука. Только за деньги.

Придется по фондам побираться. Сборами закрывать… Деньги, деньги, деньги!

Ненавижу!

— Чёрт! — врезаюсь в кого-то плечом.

Не сильно. Но достаточно, чтобы из чужих рук едва не посыпались полотенца, машинка для стрижки и пластиковый

пакет с одноразовыми пеленками.

Подхватываю машинку на лету.

И только потом понимаю, в кого врезался.

В это деспотичное чудо с косичками.

Белова.

Стоит передо мной, прижимает к груди полотенца, будто щит. Нос красный. Глаза красные. Ресницы мокрые.

Ревёт.

Женщины почему-то считают, что если слёзы не катятся по щекам, то это не считается.

Считается.

Очень даже считается.

— В чём дело? — смотрю на неё чуть высокомерно. — Кто-то ещё не надел бахилы?

Рассчитываю на злое фырканье.

Может быть, на её смех.

В самом плохом случае — на смущение и скромное извинение.

Зацепить хочу её, ёлки-палки.

Сам не понимаю почему.

Что-то в ней…

Что-то неправильное, живое, упрямое. Как заноза под кожей. Не смертельно, но всё внимание туда.

Однако реагирует она совсем не так, как я ждал.

Глаза в пол.

Губы дрогнули.

И тенью мимо меня.

Даже машинку из моих рук забрала молча. Пальцами холодными мазнула по моей ладони — случайно, на долю секунды, — а меня будто током щёлкнуло.

Дурдом.

У меня отделение полное тяжёлых раненых, один парень в третьей палате разговаривает с Богом на потолке, второй ночью орёт так, что санитары бледнеют, а меня током щёлкает от пальцев девочки-волонтёра.

— Что это было? — с опозданием понимаю, что произношу вопрос вслух.

— Жениха она своего ищет, — отзывается сзади Елена Степановна.

Я резко оборачиваюсь.

— В смысле?

Почему-то вот это “жениха” неприятно цепляет под рёбрами.

Глупость какая.

— У нас же нет неустановленных, — хмурюсь.

— Да она не тут, — отмахивается Елена Степановна. — Она вообще…

Моя старшая на секунду замолкает.

И улыбается грустно.

Не той улыбкой, которой улыбаются сплетне. Той, которой улыбаются чужой беде, когда помочь не можешь.

— Всех, кто с фронта, спрашивает про какого-то Марка

Рогожина.

— Марка Рогожина, — повторяю я зачем-то очень отчётливо.

Имя ложится на язык неприятно.

Слишком гладкое.

Слишком московское.

Слишком не отсюда.

— А если жених, то чего не позвонит или не напишет?

— Не знаю, — коротко пожимает плечами моя старшая и быстро подхватывает стопку папок.

Явно чтобы сбежать от разговора.

Елена Степановна вообще женщина умная. Когда заведующий отделением задаёт вопрос не как врач, а как мужчина, лучше срочно вспомнить про дела.

— Не рассказывает никому, — повторяет она уже на ходу. — Только спрашивает. И работает. Хорошо работает, кстати.

С нажимом произносит старшая и скрывается в своём кабинете.

А я остаюсь в коридоре.

С влажным следом от машинки на пальцах.

С чужой дрожью где-то под кожей.

И смотрю туда, куда ушла эта…

Дерзкая.

С косичками.

С красными глазами.

Жениха.

И никому не рассказывает.

И вдруг со всей ясностью понимаю, что должен эту историю знать.

Прямо-таки обязан.

Не потому, что меня касается какая-то девчонка с полотенцем.

Разумеется, нет.

Просто в моём отделении не должно быть людей с тараканами в голове.

По крайней мере не среди персонала.

Да.

Именно поэтому.

И только поэтому.

Я хочу знать все.

.

# Глава 5

***Адам***

Больничный коридор.

Скрип линолеума под подошвами, запах хлорки, приглушенные голоса за дверями палат и тихий грубый смех бойцов.

Странное место.

Не коридор даже.

Переход.

Между мирами.

От операционной — к палате.

От палаты — к выписке.

Или в…

Нет.

О втором “в” я думать не люблю.

Суеверие?

Возможно.

У хирургов вообще много суеверий. Просто мы называем их опытом, статистикой и “не стой у меня под рукой, если жить хочешь”.

К счастью, от меня туда редко уходят.

За это сестры любят.

Больные боготворят.

Матери…

С матерями сложнее.

Эти вечно плачущие матери ловят меня у лифта, у входа, у ординаторской, иногда прямо у туалета. Суют деньги. Карточки. Записки. Иконки. Номера телефонов на клочках бумаги.

— Возьмите моего сына.

— Посмотрите моего мальчика.

— Только вы сможете.

А мальчик иногда в другом отделении.

В другой больнице.

Иногда вообще в другом регионе.

Как они себе это представляют?

Как, по их мнению, я должен прийти, открыть чужую операционную, отодвинуть чужого заведующего и сказать: “Подвиньтесь, мать попросила”?

Но они верят.

Просят.

Плачут.

И я иду.

Не всегда.

Не везде.

Не к каждому.

Но чаще, чем стоило бы человеку, который давно решил, что больше никому ничего не должен.

Сейчас я тоже иду.

По коридору в свою ординаторскую.

Вообще-то я не на смене.

Вообще-то нормальные люди после командировки едут домой. Спят. Едят что-то горячее. Садятся на диван. Включают бессмысленный сериал. Молчат в своей квартире, где никто не стонет за стеной и не зовет сестру сиплым голосом.

Я не умею.

Может, потому что дома у меня нет.

Квартира есть.

Ключи есть.

Даже кофемашина, которую мне подарили на день рождения и которую я использую чаще, чем кровать.

А дома нет.

Когда-то был.

Давно.

Так давно, что иногда кажется — не со мной.

Большой дом. Шумный. Жаркий. С вечными гостями, запахом мяса, громкими разговорами, женским смехом с кухни.

Большая семья.

Большие ожидания.

Большие правила.

И я.

Старший сын.

Наследник рода.

Будущая гордость, опора, продолжатель фамилии.

Удобный мужчина с правильной женой, правильными

детьми и правильной благодарностью за то, что за него уже все решили.

Все оборвалось в тот день, когда я сказал, что женюсь. Не на той, кого мне сватали старейшины.

Моя семья поставила меня перед выбором.

Или они.

Или женщина, которую я любил.

Видит бог, дело было даже не в ней.

Хотя…

Кому я вру?

В ней.

Конечно, в ней.

Я любил ее до дрожи под ребрами.

До глупости.

Мне лет-то было… Едва двадцать. Молодой амбициозный хирург. Еще в интернатуре.

Я выбрал.

Ее.

И отказался от рода.

Она тогда очень расстроилась.

Почти расплакалась.

Даже взяла меня за руки.

Я еще помню эти пальцы.

Тонкие. Холодные. С идеальным маникюром.

Она посмотрела на меня такими влажными глазами и спросила:

— А зачем ты мне нужен без денег Тархановых?

.

***Ника***

Хлорка, хлорка, хлорочка!

Ею пропахло все…

Руки, волосы, одежда… Кажется, даже мысли.

Хлорка — это хорошо. Хлорка — это чисто. Хлорка — это не кровь, не гной.

Ты этого хотела, Ника?

Вдыхай! Полной грудью вдыхай!

Ты сама это выбрала…

И тут же в мою память врывается голос…

Низкий, бархатный, чуть нагловатый…

*Ты сама этого хотела, Ника…*

Жмурюсь, трясу головой, будто из нее можно вытрясти чужие слова…

Нельзя.

Они сидят глубже.

Под кожей.

Под ребрами.

Там, где раньше было тепло, когда он был рядом.

– О! Волонтерочка! – натыкаюсь на группу ребят в коридоре.

В курилку собрались.

— Привет, счастливчики, – задорно улыбаюсь им, – кому сегодня делаем прическу под спецназ? – вытаскиваю из таза

свою машинку, – Бесплатно, но без гарантии!

Они смеются.

Иногда.

Иногда не могут.

Тогда смеюсь я…

Смеюсь, шумлю, балагурю…

Что угодно, лишь бы заглушить этот голос внутри, который раз за разом повторяет одно и то же:

*Все из-за тебя… Это все из-за тебя.*

Этот тихий, но уверенно раздирающий душу голос.

– Меня! Меня постриги! – тянется ко мне совершенно лысый парень.

Вроде не старый. А лысый. Странно. Но ему идет.

– В очередь! – кричит ему мужичок с ЧМТ.

Того уже постригли. И забинтовали чепчиком. Там, под бинтами, волосы, может, и есть. Только не скоро до них парикмахер доберется.

Но он уверенно оттесняет лысого, чуть склоняя передо мной голову.

Мужская компания взрывается смехом. Улыбаюсь и я.

Молодцы они. Живут.

Значит, и я смогу жить.

Бегу дальше.

Счастливо слушаю скрип своих кроксов о линолеум. Скрипят! Значит, чистенько!

Вот когда начинаешь ценить простые вещи!

Когда все становится сложно! Слишком сложно!

*"Все слишком сложно, Ника… Ты же понимаешь, я не на все могу повлиять"* – звучит в голове все тот же голос.

И я уже почти прибежала. Почти скрылась в сестринской. Почти вырвала себе три минуты, чтобы выдохнуть из груди весь воздух до конца и не дышать.

Три секунды.

Пять.

Пятьдесят.

Сколько получится.

Чтобы в ушах зазвенело.

Чтобы не слышать.

Не помнить.

Не думать.

Вот дверь.

Вот ручка.

Вот спасение.

Я шагаю.

И вдруг за спиной:

— Белова!

Голос совсем другой.

Не бархатный.

Не нагловатый.

Резкий.

Сильный.

Властный.

Уверенный, что имеет право на все!

– Белова! – рявкает тот самый Тарханов, – Зайдите ко мне в кабинет.

.

# Глава 6

***Адам***

Катастрофа с косичками.

Ничего другого в моей голове для этой девицы не находится.

Резкая.

Дерзкая.

Звонкая до зубной боли.

И, главное, нравится тут всем.

Вот что особенно бесит.

Старшая моя смотрит так, будто Белова у нас не волонтер, а гуманитарная помощь в человеческом обличье. Бойцы балагурят, улыбаются, глаз с нее не сводят.

Ишь ты.

Нравится.

Всем нравится.

Кроме меня, разумеется.

Я при виде ее просто физически чувствую, как кровь вскипает.

От возмущения, конечно.

Исключительно от него.

Потому что не место ей тут.

Не место.

Слишком тонкая.

Слишком звонкая.

Слишком живая для коридоров, где люди иногда учатся заново не только ходить, но и хотеть проснуться утром.

Пусть идет туда, где эта ее звонкость нужна.

В детский сад.

В школу.

В нормальную жизнь, где максимум трагедии — разбитая коленка и двойка по математике.

А не сюда.

Не ко мне.

— Белова! — бросаю я уже в кабинете и сажусь за стол.

Халат я успел накинуть.

И ботинки на белые кроссовки поменять.

Чистые.

Почти стерильные.

Можете записать в журнал победы санитарного режима.

Откидываюсь в кресле и демонстративно вытягиваю ноги.

Пусть любуется.

— Что вы делаете в моем отделении? — спрашиваю чуть высокомерно.

А она молчит.

Взглядом к моим кроссовкам приклеилась, как я и рассчитывал, губы в ниточку сжала, сопит, словно стометровку пробежала, и молчит.

Хорошо.

Значит, заметила.

Значит, поняла.

Значит, не только я очень долго буду помнить про бахилы.

— Вероника, — снова окликаю ее.

И тут сам себе едва не прикусываю язык.

Имя-то какое.

Красивое.

Ненужное совершенно в моем кабинете.

По языку перекатывается, как прохладная вода в жаркий день.

И, что особенно раздражает, идет ей безумно.

И короткое, и полное.

Ника.

Вероника.

Вера и победа.

И все это — в одной тонкой девчонке с мокрыми ресницами и упрямым подбородком.

Она вздрагивает.

Не ожидала, что я имя ее знаю?

Глупая.

Я в своем отделении все знаю.

Особенно то, что не должен был бы замечать.

— Вы же видели, — она разводит руками, в одной из которых до сих пор зажата машинка для стрижки. — Я волонтер.

— Видел, — кривлюсь недовольно. — Вопрос был другой.

— Какой?

— Что вы делаете в моем отделении?

— Ну как… — она фыркает и пытается состроить недоуменный взгляд.

Пытается.

Плохо пытается.

Я шестым чувством чувствую: понимает, о чем я.

Все понимает.

Просто тянет время, чтобы снова собраться в свою дерзкую, громкую, неудобную оболочку.

— Я перестилаю постели, мою бойцов, стригу, переодеваю… Иногда приношу вкусняшки, — пожимает плечами. — Вы хотите полный отчет? Я могу в табличке. С графиками. Очень наглядно получится.

— Вероника, — я чуть склоняю голову и едва заметно улыбаюсь. — Вы дурака-то из меня не делайте.

Произношу тихо.

Почти ласково.

И именно поэтому она наконец перестает играть.

— Что вы делаете в моем отделении?

Вот теперь понимает.

По-настоящему.

Понимает, что я все вижу и отпираться бесполезно.

Она резко вскидывает лицо к потолку.

Бьюсь об заклад, там в глазах слезы.

И меня всего разрывает изнутри.

Идиотская реакция.

Хочу встать.

Хочу подойти.

Хочу поймать это личико в ладони и заставить посмотреть на меня, а не в потолок.

Не могу.

Терпеть женские слезы не могу.

Мужские — сколько угодно.

А женские…

Женские будто сразу под кожу.

— Вероника, — подталкиваю ее к ответу медленно, но верно.

— Да что вы заладили: Вероника, Вероника! — вдруг взрывается она. — Что? Что вам не так? Что я нарушила?

— Откуда я знаю, что вы нарушили, — вскакиваю, перенимая ее же тон. — Может, уже парочку законов о государственной тайне? Что вы тут вынюхиваете? О чем бойцов допрашиваете?

Она будто получает пощечину.

Отшатывается на полшага.

— Да жениха я ищу! — почти стонет она. — Жениха! Слышите?

Слышу.

Еще как слышу.

И почему-то от этого слова внутри неприятно дергает.

Жениха.

Конечно.

Ну кто бы сомневался.

— Женихов не так ищут! — рявкаю я уже стоя.

Не выдерживаю.

Выхожу из-за стола.

— С женихом обычно переписываются, когда есть связь, — продолжаю жестко. — О нем знают часть, звание, направление, фамилии друзей, хоть что-то. А не ходят по палатам и не опрашивают других мужиков.

— Вы… — она не выдерживает.

Слезы брызжут из глаз.

Мгновенно.

Горячо.

Без всякой красивой киношности.

Просто девчонка ломается там, где минуту назад еще держалась на злости.

— Вы ничего не понимаете! Мы…

Плечи вздрагивают.

Она всхлипывает.

И я уже ненавижу себя.

Не сильно.

Но достаточно, чтобы понять: тон я выбрал отвратительный.

— Мы поругались, — шепчет она сдавленно.

— Отлично, — улыбаюсь криво, потому что остановиться, конечно, надо было секунд десять назад. — Значит, не то чтобы и жених.

— Нет! — почти выкрикивает она. — Он там из-за меня! Из-за меня!

О.

Красота-то какая.

Сколько их таких там, за ленточкой.

Которые пошли “доказывать”.

*И когда об этом вдруг узнаешь ты,*

*Тогда поймешь, кого ты потеряла.*

Мужская дурь — отдельный вид оружия массового поражения.

— Довела мужика, — фыркаю я.

И сам слышу, как мерзко это звучит.

Белова замирает.

Все.

Попал.

Не в цель даже.

В живое.

— Да нет же, — шепчет она. — Все не так.

Ей больно.

Физически больно.

Это видно по лицу, по тому, как она держит плечи, как пальцы впились в пластиковый корпус машинки.

И я уже почти жалею, что начал.

Нет.

Не почти.

Жалею.

О выбранном тоне — точно.

— Тогда как? — спрашиваю тише.

Она не сразу отвечает.

Смотрит куда-то мимо меня.

Не на стол.

Не на дверь.

В себя.

В то место, куда я, видимо, уже влез потоптаться своими чистыми стерильными кроссовками.

— Просто… — губы у нее дрожат. — Я не нравилась его семье.

И кабинет исчезает.

Сразу.

Без перехода.

Без предупреждения.

Будто кто-то выключил свет.

И у меня на запястьях тонкие холодные пальцы, а в ушах этот голос…

*"И зачем ты мне нужен без денег Тархановых?"*

.

# Глава 7

***Ника***

Презрительно искривленные губы.

Мечущий молнии взгляд.

Чужой, злой, беспощадный.

Не выдержу.

Не могу.

Не…

Я разворачиваюсь и вылетаю из кабинета.

Просто вылетаю.

Кажется, задеваю плечом косяк. Кажется, кто-то вскрикивает в коридоре. Кажется, сзади грохает стул.

Неважно.

Быстрее.

Только быстрее.

Пока никто не увидел.

Пока никто не понял.

Пока из меня прямо здесь, в этом коридоре, не вырвалось всё то, что я так аккуратно держала внутри.

— Белова! — несется мне вслед. — Вероника!

Голос Адама Рустамовича бьет в спину.

Жесткий.

Командный.

Такой, каким, наверное, можно остановить кровотечение,

истерику и наступление вражеской армии.

Меня — нельзя.

Меня уже нет.

Я уже не здесь.

Коридор.

Поворот.

Подсобка.

Дверь.

Ручка не сразу поддается, пальцы скользят, потому что ладони влажные. Я почти бьюсь в дверь, дергаю еще раз и вваливаюсь внутрь.

Темно.

Тесно.

Пахнет порошком, хлоркой, мокрыми тряпками и железом от старого ведра.

Хорошо.

Пусть пахнет чем угодно.

Лишь бы не его кабинетом.

Лишь бы не этим взглядом.

Лишь бы не…

Вдох.

Ну же.

Вдох!

Воздух врывается в горло со свистом. С хрипом. С каким-то жалким, рваным стоном, будто это не я дышу, а кто-то внутри меня скребется наружу.

Машинку.

Я машинку у него оставила.

Господи, я даже машинку свою бросила.

Какая идиотка.

Какая…

Марк.

Имя вспыхивает в голове так резко, что я зажмуриваюсь.

Марк.

Мой Марк.

Я сползаю по стене вниз. Штукатурка холодная, шершавая, цепляет висок. Я прижимаюсь к прохладной стене и тихо скулю.

Не реви.

Только не реви.

Дыши.

Надо дышать.

Но перед глазами уже его лицо.

Высокий.

Красивый.

С заостренным носом, который меня умилял, а его бесил.

— Как только предки отстанут, сделаю пластику, — говорил он зло. — Нормальный нос. Идеальный.

Я смеялась.

Гладила пальцем по переносице и говорила, что мне нравится.

Он фыркал.

— Белка, на тебе свет клином не сошелся. Главное, чтобы я себе нравился.

И я думала: он честный.

Господи.

Какая же я была дура.

Марк всегда хотел быть идеальным.

Волосы — чуть светлее.

Тело — суше.

Машина — дороже.

Компания — правильнее.

Одежда — такая, чтобы все сразу понимали, кто он и где они.

И я долго, очень долго думала, что если он выбрал меня — значит, я тоже чего-то стою.

Он сам так говорил.

— Ты со мной, потому что ты лучшая.

Я сияла.

Как последняя идиотка.

Сияла, потому что самый красивый мальчик на курсе, умница, любимец преподавателей, человек с квартирой, спорткаром и будущим, смотрел на меня и говорил: лучшая.

А потом я впервые увидела его родителей.

И поняла: нет.

Не лучшая.

Временная.

Они даже не пытались говорить тише.

— Миленькая, конечно, — сказала его мать, разглядывая меня так, будто я была платьем с рынка. — Но это же временный вариант.

Временный вариант.

Вот так.

Не девушка сына.

Не Вероника.

Не человек.

Вариант.

Временный.

Я тогда стояла в их огромной кухне, держала чашку с чаем и боялась поставить ее на стол, потому что вдруг не туда поставлю. Вдруг испорчу скатерть. Вдруг чашка стукнет слишком громко. Вдруг я сама слишком громкая, слишком простая, слишком не оттуда.

Марк молчал.

Сидел рядом.

Листал телефон.

Улыбался чему-то в экране.

Я ждала, что он скажет: “Мам, хватит”.

Или

“Она не вариант”.

Или

“Она моя девушка”.

Он не сказал.

Только потом, уже в машине, поцеловал меня в висок и

бросил:

— Не обращай внимания. Они такие.

Просто "такие".

А я, значит, просто потерплю.

Потому что люблю.

Потому что со второго курса вместе.

Потому что он же меня выбрал.

Потому что если я постараюсь, однажды меня тоже можно будет не стыдиться.

В груди что-то хрустит.

Я обнимаю себя руками, впиваюсь пальцами в плечи.

Не сейчас.

Ника, не сейчас.

Поздно.

Меня уже несет туда.

В тот вечер.

В тот проклятый вечер, который я помню по секундам.

Перед ним мы поругались.

Я больше не смогла.

Сорвалась.

Спросила, почему я временная. Почему его мать может говорить обо мне так, будто меня взяли напрокат в ожидании нормальной невесты. Почему он молчит. Почему никогда не защищает.

Марк раздражался.

Ходил по комнате.

Красивый.
Холодный.
Чужой.
— Белка, ну ты же понимаешь, все сложно.
Вот так.
Все сложно.
Не “я люблю тебя”.
Не “ты мне важна”.
Все сложно.
— Не все зависит от меня, — добавил он.
И я тогда ушла.
От него.
Как думала — навсегда.
Хотя кому я вру.
Я дошла до дома, села на кровать и начала ждать.
Конечно, ждать.
Что он позвонит.
Что прибежит.
Что скажет: “Дурочка, ну куда ты? Я все решил”.
Что выберет меня.
И он позвонил.
На следующий день.
Голос веселый, будто ничего не случилось.
— Белка, я вечером заеду.
И всё.
Я ожила.

Господи, как стыдно это вспоминать.

Я ожила от одной его фразы.

Летала по квартире, как ненормальная. Прическа. Макияж. Лучшее платье.

То самое синее.

За которое я отдала половину стипендии и потом две недели ела гречку.

Но платье было красивое.

Я была красивая.

Я хотела, чтобы он увидел.

Нет.

Не так.

Я хотела, чтобы он пожалел, что чуть не потерял меня.

Я хотела извинений.

Хотела объяснений.

Хотела предложения.

Хотела хотя бы слов: “Я что-нибудь придумаю”.

Марк приехал без десяти шесть.

Я помню, потому что смотрела на часы каждые две минуты.

В пять сорок восемь я еще красила губы.

В пять пятьдесят две услышала сигнал под окнами.

Он даже не поднялся.

Даже из машины не вышел.

Опустил стекло и крикнул:

— Давай, Белка, быстрее!

И я побежала.

Конечно, побежала.

Потому что тогда еще думала: зовет — значит, нужна.

Салон его спорткара пах кожей, дорогим парфюмом и чем-то сладким, приторным, от чего меня всегда чуть мутило. Музыка била по ушам. Марк постукивал пальцами по рулю, смотрел на дорогу, улыбался чему-то своему.

Не мне.

Он словно куда-то спешил.

Словно ехал не ко мне.

Словно я просто села по пути.

Я поправила платье на коленях.

Руки дрожали.

Он этого не заметил.

— Ты красивая, — сказал он наконец.

И я снова поверила.

Одной фразой.

Как собака Павлова.

Красивая. Значит достойная?

Дура.

Он вел резко.

Марк всегда водил резко.

Подрезал, тормозил в последний момент, смеялся, когда я хваталась за ручку.

— Перед такой машиной должны расступаться, — говорил он. — Иначе сами дураки.

На светофоре он ударил по тормозам, и в багажнике что-то звякнуло.

— А… — спросила я, впервые за вечер. — А куда мы едем?

— На дачу к Лехе, — без запинки сказал Марк.

Я замерла.

Просто обмерла вся.

Леха.

Его дача.

Не дача даже.

Притон.

Место, куда ездили “оторваться”. Где всегда были какие-то парни, девочки, алкоголь, музыка, липкие взгляды и шутки, после которых хотелось принять душ, даже если ты просто стояла рядом.

— Но… — я повернулась к нему. — Я думала, мы…

Марк даже не посмотрел.

— Что мы?

— Марк, что значит — на дачу к Лехе?

— А что не так? — пожал плечами он. — Развлечемся. Там будут еще парни.

Еще парни.

Эти два слова будто врезались мне под кожу.

Марк же не…

Нет.

Он не такой.

Не мой Марк.

Не тот, который целовал меня у подъезда и говорил, что любит.

Не тот, который называл Белкой.

Не тот, который говорил, что я лучшая.

Он не мог меня туда везти.

Не меня.

— Марк, я думала, мы побудем вдвоем.

Он рассмеялся.

Некрасиво.

Недобро.

И я впервые услышала этот смех по-настоящему.

Без розового шума в ушах.

— Там мы побудем вдвоем.

Меня затошнило.

Не образно.

По-настоящему.

Горло сжалось, ладони стали ледяными, платье вдруг прилипло к коже. Я дернулась к ручке двери.

Машина летела.

Слишком быстро.

Фонари размазывались по стеклу длинными желтыми полосами.

— Останови машину, — сказала я.

Тихо сначала.

Почти вежливо.

Будто просила передать соль.

— Чего?

— Останови машину, Марк. Я не поеду.

Он скривился.

Вот прямо скривился.

Так, будто я испортила ему вечер капризом.

— Ой, Белка, да что ты выделываешься?

— Я не выделываюсь. Останови.

— Тебе же это даже выгодно, — бросил он.

И я не сразу поняла.

Мозг отказался.

Просто выключился на этой фразе.

— Что? — прошептала я.

Марк усмехнулся, не глядя на меня.

— Ну найдешь себе кого-нибудь. Там нормальные парни будут. А то, глядишь, меня предки все-таки женят.

Мир сузился до его профиля.

До пальцев на руле.

До дорогих часов на запястье.

До моего синего платья, за которое я отдала половину стипендии.

До мерзкого понимания, которое поднималось внутри медленно, как черная вода.

Я была не любимая.

Не невеста.

Не будущая жена.

Даже не девушка, которую он боялся потерять.

Я была временный вариант.

Удобный.

Влюбленный.

Дешевый.

Который можно взять с собой на дачу к Лехе и, может быть, передать дальше по рукам, если родители все-таки женят на нормальной.

— Марк… — голос у меня сломался. — Я думала… Ты… Мы…

— Какие мы? — он резко повернул голову. — Какие мы, Белка? — сказал Марк зло. — Где я — и где ты?

Что-то во мне оборвалось.

Даже не сердце.

Глубже.

Тоньше.

Последняя глупая ниточка, на которой висела надежда.

— Останови, — сказала я.

Уже в слезах.

— Сиди, — рявкнул он.

Я вздрогнула.

Не от громкости.

От того, что он сказал это так, будто имел право.

Сиди.

Как собаке.

Как вещи.

Как временному варианту на пассажирском сиденье.

И тут загорелся красный.

Светофор.

Машина дернулась и встала.

Секунда.

Одна.

Марк отвернулся, что-то раздраженно сказал водителю впереди. Кажется, выругался. Кажется, потянулся к телефону.

А я уже держала ручку.

Пальцы не слушались.

Дверь не открывалась.

Или открывалась, а я не могла.

Я не помню.

Помню только красный свет.

Красный.

Красный.

Красный.

И мысль: если сейчас не выйду, потом уже не выйду никогда.

Я дернула.

Дверь распахнулась.

— Ты что творишь?!

Я выпала наружу.

Не вышла.

Именно выпала.

Каблук подвернулся, боль прострелила лодыжку так резко, что перед глазами потемнело. Колено ударилось об асфальт. Ладонь содралась о грязный бордюр.

Но я вскочила.

И побежала.

На каблуках.

В синем платье.

С одной мыслью: только бы он не вышел. Только бы не догнал. Только бы не схватил за руку и не сказал снова: “Сиди”.

— Дура! — несся мне вслед его голос. — Белка, дура!

Я бежала.

Не помню куда.

Не помню как.

Мимо остановки. Мимо женщины с пакетом. Мимо какого-то мужчины, который сказал: “Девушка, вам плохо?”

Плохо?

Нет.

Мне не было плохо.

Меня уже не было.

Домой я пришла уже в темноте.

Сорвала платье.

Не сняла.

Именно сорвала.

Молния заела, ткань треснула, я дергала ее, пока не заскулила от злости.

Платье упало на пол красивой синей лужей.

То самое.

Лучшее.

Для него.

Ради него.

Ради чего?

Я стояла в ванной перед зеркалом и не узнавала себя.

Губы размазаны.

Тушь потекла.

На ладони кровь.

Лодыжка распухает.

А внутри — грязь.

Будто он все-таки довез меня до этой дачи.

Будто все эти “парни” уже посмотрели.

Будто его слова успели сделать со мной то, чего он не успел.

Я включила душ.

Горячий.

Почти кипяток.

Терла кожу мочалкой до красных пятен.

Плечи.

Шею.

Губы.

Особенно губы.

Терла и думала: смыть.

Смыть.

Смыть.

Его машину.
Его смех.
Его “где я — и где ты”.
Его “тебе же выгодно”.
Его “сиди”.
Но не смывалось.
Ничего не смывалось.
Ближе к полуночи телефон пискнул.
Я не взяла сразу.
Сидела на полу в ванной, завернутая в полотенце, и смотрела, как экран светится в темноте.
Я знала, что это он.
Думала: сейчас напишет гадость.
Или попросит прощения.
Или скажет, что я дура, но он все равно приедет.
Я не ждала.
Конечно, не ждала.
Просто телефон лежал рядом.
Просто сердце почему-то билось так, будто ждала.
Сообщение было не от него.
От его друга.
“Марк разбился”.
И почти тут же экран снова вспыхнул.
Смс.
С его номера.
“Это все из-за тебя”.

# Глава 8

***Адам***

Стою, прислонившись лбом к двери подсобки.

Дерево холодное.

Шероховатое.

Крашеное сто раз поверх старой краски, облупившейся у ручки. Обычная больничная дверь. Ничего особенного.

А я стою перед ней так, будто за этой дверью не подсобка с ведрами, тряпками и коробками перчаток, а операционная, куда меня не пускают.

— Вероника?

Голос дрожит.

Отлично, Тарханов.

Просто отлично.

Меня не должно быть тут.

Ее не должно быть там.

Этого всего вообще не должно быть.

Ни разговора в коридоре. Ни ее лица, когда я сказал то, что сказал. Ни этих глаз, в которых сначала была дерзость, потом непонимание, потом такая боль, что мне самому захотелось отступить.

А я не отступил.

Конечно.

Я же умею резать.

— Вероника, откройте…

Набираю воздуха в легкие и почти через силу добавляю:

— Пожалуйста.

Молчит.

Не открывает.

За дверью вообще тихо.

Ни всхлипов.

Ни рыданий.

Ни звука.

Но я почти уверен: она плачет.

Она сейчас плачет.

Из-за меня.

А не из-за…

М-м-м.

Жениха.

У нее есть жених.

И там почти такая же ситуация, как была у меня.

Почти.

Только из-за меня никто не плакал.

Из-за потерянных денег — да.

Из-за несостоявшейся свадьбы, испорченных планов, чужих ожиданий — сколько угодно.

А из-за меня — нет.

Где-то под ребрами дергает короткой, злой болью.

Ревность.

Смешно.

Нелепо.

Мерзко.

Я тут стою у двери подсобки, куда сам загнал девочку, и ревную ее слезы к какому-то Марку Рогожину.

Марку.

Прямо имя, которым удобно подписывать дорогие открытки и визитки.

Отмахиваюсь от этой мысли, как от мухи.

Глубоко вдыхаю.

— Вероника Белова, я вас очень прошу, откройте. Я не умею разговаривать с дверью.

За дверью слышится тихий шорох.

Я задерживаю дыхание.

Почти прижимаюсь к полотну.

Пахнет тряпками. Сыростью. Хлоркой. Чем-то мокрым и застоявшимся.

Грязью.

И там сейчас Вероника.

Получается, я ее в эту грязь и окунул.

Не Марк Рогожин.

Не его отец.

Я.

Мне становится физически тошно.

К счастью, почти сразу щелкает замок.

Дверь приоткрывается.

Она появляется на пороге.

Тихая.

С опущенным лицом.

В больничном халате, который ей явно великоват, с растрепанными косичками и отекшими от слез глазами.

Как я и предполагал.

И все равно не был готов.

— Вероника, — начинаю я.

И тут же теряю способность говорить.

Потому что она поднимает на меня взгляд.

И я чувствую себя в этот момент не заведующим отделением. Не хирургом. Не мужиком, который умеет принимать решения быстрее, чем у других получается испугаться.

Ничтожеством.

Самым обыкновенным ничтожеством.

Потому что я ранил ее не туда, где можно наложить швы.

Не туда, где можно поставить дренаж, ввести препарат, зажать сосуд, остановить кровь.

В самую душу.

Эфемерная, тонкая материя.

Черт.

Я отлично знаю, что у людей внутри.

Орудовал руками.

Держал сердце. Собирал живот. Доставал осколки. Видел, как человек устроен много раз. И чинил это все много раз.

Но вот это…

Невесомое.

Ненаучное.

Как с этим обращаться, я не знаю.

— Прости, — выдыхаю я.

И только после этого понимаю, что сказал.

Не “простите”.

Не “Вероника, я приношу извинения”.

Не так, как положено заведующему отделением, разговаривающему с волонтером.

А просто.

Вот так.

Обнажая душу.

Уже свою.

— Что? — она хмурится.

Словно не верит.

Правильно.

Я бы тоже не поверил.

— Прости меня, пожалуйста, — повторяю настойчиво.

Стараюсь смотреть ей прямо в глаза.

И тут же ловлю себя на этом “ты”.

Слишком близко.

Слишком быстро.

Слишком не имею права.

— Простите, — стискиваю зубы. — Я сказал то, что не имел права говорить. И тронул тему, которую не имел права трогать.

Она опускает взгляд.

Пальцы вцепляются в ворот халата. Тянет ткань на себя, запахивает плотнее, будто ей холодно.

Или будто я сейчас тоже могу ударить.

Только словами.

— Вы… — она шмыгает носом. — Вы просто не поняли.

Этот звук.

Детский.

Сломанный.

Шмыгнула носом, всхлипнула — а у меня внутри это отозвалось двумя взрывами. Один под ребра. Второй ниже, туда, где у нормальных людей, наверное, должна быть совесть.

— Он не пошел на войну из-за меня, — говорит она и поднимает глаза. — Все не так было.

— Вероника, я…

Выставляю ладони.

Пытаюсь показать, что не хочу больше.

Ни звука.

Ни слова.

Ничего не хочу слышать об этом Марке Рогожине, который посмел бросить вот эту…

Катастрофу с косичками.

Дерзкую. Глупую. Чистую. Раненую.

Но она уже не может молчать.

И мне вдруг кажется, что я вообще первый живой человек, которому она это рассказывает.

— Он в аварию попал, машину разбил, — она вдруг пе-

реходит на быстрый шепот, словно боится не успеть. — Мы поругались, он расстроился, выпил и…

И мне становится противно.

Резко.

До металлического привкуса во рту.

Рогожина я хочу придушить собственными руками.

Нажраться.

Сесть за руль.

Устроить аварию. Надеюсь, хоть без жертв?

А потом еще и повесить ответственность за собственную дурь на девочку, которая теперь ходит по госпиталю и ищет его среди раненых.

Красиво.

Очень по-мужски.

— Его отец сказал, что такой позор с семьи может смыть только подвиг, — голос у нее снова дрожит. — Вот и вышло, что он оказался там.

В глазах появляются слезы.

Снова.

— Из-за меня. Но я не доводила! — почти выкрикивает она и трясет головой. — Я не доводила его, правда. Я просто… я просто сказала, что так нельзя. И мы поссорились.

Вот теперь уже мне хочется не просто уйти.

Мне хочется найти этого отца.

Потом сына.

Потом всю их благородную фамильную линию, где позор

смывают чужой кровью, а вину складывают на женские плечи.

Но вместо этого я стою перед Вероникой Беловой в коридоре своего отделения и понимаю: если сейчас скажу хоть слово не тем тоном, она окончательно рассыплется.

А если тем — я рассыплюсь сам.

— Ну а сейчас-то вы его зачем ищете? — спрашиваю устало.

Она смотрит на меня недоуменно.

Будто вопрос неправильный.

Будто ответ очевиден всем людям на земле, кроме меня.

— Я… Чтобы понять. Чтобы объяснить. Чтобы…

— Вероника, — прерываю ее. — Вам тут не место.

Она белеет.

Мгновенно.

И это хуже любых слез.

— Пожалуйста, — губы дрожат. — Пожалуйста, позвольте мне остаться.

Режет.

Прямо по печени.

Без наркоза.

Потому что я слышу не “позвольте работать”.

Я слышу: не забирайте у меня последнюю возможность что-то исправить.

Господи.

Я не выдержу.

Я рядом с ней не выдержу.

Не сейчас.

Не в этом отделении.

Не после того, как увидел ее слезы и понял, что хочу невозможного.

Хочу, чтобы она перестала плакать.

Хочу, чтобы она не плакала по нему.

Любым способом надо сделать так, чтобы она ушла.

Любым.

— Да кто я такой, чтобы вам запрещать, — отворачиваюсь. — Вы же волонтер.

— Значит, я могу работать? — спрашивает она почти радостно.

Почти.

Как ребенок, которому вернули игрушку, хотя игрушка давно сломана.

— Можете, — киваю обреченно. — В отделении вас ценят.

Она моргает.

Кажется, даже не сразу верит.

А мне надо уйти.

Сейчас.

Пока я не сказал еще что-нибудь.

Пока не сделал хуже.

Пока не протянул руку и не вытер с ее щеки слезу, потому что вот это уже будет совсем за гранью.

— Но, — отступаю на шаг, — то, что вы делаете… Все эти ваши поиски…

— Я буду аккуратнее, — выпаливает она.

— Не в этом дело.

Поджимаю губы.

Как ей объяснить?

Что дело не в аккуратности.

Не в списках.

Не в расспросах.

Не в том, что она суется туда, куда ее не звали.

— Ладно, — говорю глухо. — Простите меня еще раз. Я пойду.

— Да… Да, конечно.

Она отступает назад.

Не закрывает дверь сразу.

Просто стоит на пороге подсобки, маленькая, бледная, с красными глазами, и держится за ворот халата так, будто это единственное, что не дает ей снова развалиться.

Я разворачиваюсь.

Иду мимо сестринского поста и думаю, что надо все же уйти домой.

Срочно.

Пока в отделении еще есть люди.

Пока я не остался в этих коридорах наедине с Вероникой Беловой, ее слезами, ее женихом, ее отчаянным “позвольте мне остаться” и своей совершенно лишней, невозможной

злостью.

Вечер в пустом отделении рядом с ней я не выдержу.

Моя старшая медсестра впивается в меня взглядом.

Елена Степановна.

Конечно.

Что-то видела.

Что-то слышала.

Отделение маленькое. Стены тонкие. Люди здесь вообще умеют узнавать чужие тайны по шагам.

Она молчит.

И это хуже, чем если бы спросила.

Я прохожу мимо.

Останавливаюсь.

Потому что в голову вдруг приходит мысль.

Почти коварная.

Правильная.

Нет.

Не правильная.

Удобная.

Просто надо сделать так, чтобы Белова сама захотела уйти.

Не выгнать.

Не запретить.

Не стать для нее последним чудовищем в этом отделении.

Пусть увидит.

По-настоящему.

Не бравые шуточки из третьей палаты. Не благодарные улыбки. Не “Вероника, водички”. Не лысые головы, которые можно побрить и потом гордо назвать нормальными.

Пусть увидит яму.

Ту самую.

Из которой не все выбираются.

— Елен Степанна, — окликаю старшую.

Она поднимает глаза.

— Адам Рустамович?

— Вы говорили, волонтерка хорошая.

Киваю в сторону подсобки.

— Хорошая, — осторожно подтверждает она.

Осторожно.

Значит, уже не нравится ей мой тон.

— Тогда отправьте ее к этому… неудобному.

Елена Степановна смотрит на меня долго.

Слишком долго.

— К Толику?

Я киваю.

— К нему.

— Адам Рустамович…

— Что?

— Он тяжелый.

— Я знаю.

— Злой.

— Имеет право.

— Он без ног.

Знаю.

Конечно, знаю.

— Тем более, — говорю сухо.

Старшая молчит.

И в этом молчании столько неодобрения, что другой бы, может, даже смутился.

Я — нет.

Я уже сегодня был чудовищем.

Одним разом больше, одним меньше.

— Хотите проверить девочку? — наконец спрашивает она.

Нет.

Да.

Не знаю.

Хочу, чтобы она ушла.

Хочу, чтобы она осталась подальше от меня.

Хочу, чтобы перестала плакать по Марку Рогожину.

Хочу, чтобы не плакала вообще.

И больше всего хочу не хотеть всего этого.

— Хочу, чтобы от волонтера была польза, — отвечаю.

Елена Степановна смотрит еще секунду.

Потом кивает.

— Хорошо.

Я ухожу.

Быстро.

Почти бегу из собственного отделения, как трус.

А за спиной остается Вероника Белова.

Девочка с косичками, красными глазами и чужой виной на плечах.

Я говорю себе, что так правильно.

Что Толиков ее напугает.

Оттолкнет.

Вытолкнет из этих стен лучше любого приказа.

Что она завтра же поймет, что ей здесь не место.

Что она уйдет.

И всем станет легче.

Особенно мне.

Потому что если она выдержит Толика…

Я пропал.

.

# Глава 9

***Ника***

Кто мне может объяснить, отчего это я вдруг решила, что в этом мужлане есть хоть что-то человеческое?

Распустила нюни…

Повелась на его "Простите"...

На этот голос.

На эти глаза, в которых вдруг на секунду мелькнуло что-то такое…

Человеческое.

Злюсь на себя так, что аж кулаки стискиваю, но… Деваться некуда.

Значит, этот мой…

Настойчиво попросили. Как талантливую.

И честно сказали, что остальные боятся.

Чего бояться - то? Чего бояться?

Тяжелое ПТСР.

Наверное.

Я еще не окончила учебу. Я еще только буду дефектологом. У меня пока больше теории, чем практики, и больше наглости, чем права лезть к людям в голову.

Но одно я знаю точно.

Если человек разговаривает с Богом на потолке, нельзя хватать его за плечи и орать: “Очнитесь, там никого нет”.

Во-первых, это глупо.

Во-вторых, жестоко.

А в-третьих, кто вам сказал, что он не прав? В мире до сих пор никто не доказал, что бога нет. Как, впрочем, и обратного…

Так что Толик вполне может оказаться прав. И у него там на потолке Бог. А нам всем потом придется извиняться.

Тяжело вздыхаю, еще раз вспоминаю темные глаза Тарханова…

Черт!

Что за черт!

Отчего этот взгляд никак не идет у меня из головы.

С одной стороны, хорошую штуку сделал доктор Тарханов.

Вечно обвиняющего Марка в уме я слышать перестала.

А с другой.

А с другой, он отправил меня к Толику.

Явно в надежде, что я сбегу.

Угу.

Не на ту напали, Адам Рустамович.

И я смело шагаю вперед, со стопкой белья наперевес.

– Анатолий, нам надо повернуться на бок! – я вытаскиваю новую простыню, – Вы не переживайте, если верить теологам, Бог он везде, так что вы вполне можете продолжить свой разговор, глядя в стену.

Парень замолкает, вздрагивает, и переводит взгляд прямо

на меня.

До этого он что-то шептал. Очень тихо. Почти беззвучно. Одними губами.

А тут замолкает.

Вздрагивает.

И медленно переводит взгляд на меня.

Хм.

Странно.

Вообще-то я рассчитывала, что он меня не услышит.

Или сделает вид, что не услышал.

— Можно вас попросить? — спрашиваю я с совершенно деловой миной.

Он молчит.

Смотрит так, будто пытается понять, я настоящая или тоже уже из потолка.

— У меня тетка сердечница. Одна живет. Вечно в огороде возится. Попросите, чтобы это лето под Тамбовом было не очень жаркое, а? Вы же с ним говорите, вам же несложно?

Сама тем временем складываю простыню, как учили.

Пополам.

Подложить.

Повернуть.

— А! — добавляю я, будто только что вспомнила. — Еще моя сокурсница Машка. Опять протусила весь семестр. Очень просила за сессию.

Анатолий моргает.

— Она, конечно, сама виновата, — признаю честно. — Но так-то деваха хорошая. Просто мозгов временно нет. Бывает.

— Вы вообще в своем уме? — вдруг хрипло спрашивает он.

Голос такой, будто он уже забыл, как им пользоваться.

Или поражен до глубины души.

Хорошо.

Значит, слышит.

Значит, вернулся.

Хотя бы чтобы возмутиться.

— А что? — смотрю на него удивленно. — Боженька же добрый. Разве нет?

— Но не за сессию же прогульщикам просить, — вдруг возмущается боец.

И вот тут я окончательно понимаю: он едва ли старше меня и моей вымышленной Машки.

– Слушайте, ну у каждого своя важность, – развожу руками, – Кому сессия, кому урожай огурцов, а кому ребенка от рака вылечить. Такая история. Оно-то, конечно, понятно, – хмыкаю, – своя рубашка ближе к телу! Не хотите просить, – кривлюсь, – Не думала, что вы такой эгоист!

Он резко поворачивает голову.

— Что?

Да.

Попала.

Я знаю, чем задела.

Елена Степановна рассказала коротко. Очень коротко. Так, как медики рассказывают самое страшное, чтобы не расплакаться и не сломать голос.

Анатолий потерял ноги, когда отгонял подбитую машину с боеприпасами от КПП.

Не должен был.

Он вообще не был водитель.

Просто понял, что сейчас рванет. И в радиусе сорока метров не останется никого.

И прыгнул в уже горящую машину.

Так что его можно назвать героем.

Дураком.

Бессеребренником.

Отчаянным.

Самоотверженным.

Человеком без чувства самосохранения.

Как угодно можно назвать.

Только не эгоистом.

— Вы ненормальная, — говорит он.

Тише.

Но злее.

Аж багровеет. Жилы на шее вздуваются.

Угу.

Живой.

— Знаете! — упираю руки в бока. — Вы вообще-то тут лежите, а другие…

— Девушка, а вы не могли бы помолчать? — резко просит он.

Надо же, какой воспитанный.

Другой бы уже матом обложил.

А этот просит.

– Чего это я должна молчать? – хмыкаю нагло, – Не нравится, что я говорю, – выметайтесь из палаты, пока убираю…

— Я…

И запинается.

Я вижу, как до него доходит.

Не сразу.

Медленно.

Жестоко.

Не мыслью даже.

Телом.

Тем самым телом, которое он теперь не может поднять, как раньше.

— Я не…

Он снова молчит.

Долго.

Секунда.

Две.

Три.

И вдруг.

– Дайте каталку.

.

***Адам***

Я не понимаю в чем дело, когда коридор вдруг замирает.

Вот только что на посту болтали, шумели, ворчали, шуршали бумагами.

Все как всегда.

Нервно.

Шумно.

Живо.

И вдруг — тишина.

Не постепенная.

Не такая, когда разговоры сами собой стихают.

А резкая.

Будто по коридору прошел сквозняк, ледяной, невидимый, и коснулся каждого затылка.

Постовая сестра перестает писать.

Ее ручка замирает над журналом.

Вижу глаза дежурной и оборачиваюсь сам.

И…

Тоже замолкаю.

Это, вообще, как?

Первое чувство, которое я испытываю – досада!

Второе – стыд.

Придурок! Я. Не он.

Он тоже, конечно, но у него хотя бы есть шанс.

А у меня, похоже, уже нет.

Белова медленно, аккуратно, вывозит в коридор… Толи-

ка.

Он в футболке, низ прикрыт одеялом…

Толик бледный, дрожит, но упрямо сжимает губы и словно даже пытается перехватить у нее управление.

– Я минут за пятнадцать управлюсь, – с совершенно наигранной веселостью произносит она, – Ну, максимум, двадцать!

Отпускает коляску и почти сразу возвращается назад. Резко закрывает за собой дверь.

А мужики в коридоре вдруг начинают хохотать!

И по плечам нашего странненького хлопать, как родного, как с того света вернувшегося.

Может, так оно и есть.

С Богом этот парень общался, как с соседом по палате.

И я делаю шаг. Туда. К двери.

Только я иду не к нему.

Я иду в палату.

Потому что ровно за секунду до того, как Белова захлопнула дверь, я успел увидеть ее лицо.

И слезы на щеках.

.

# Глава 10

***Адам***

— Ника…

Я не понимаю, зачем я здесь.

Не отдаю себе отчета в том, что делаю.

Мне бы сейчас стоять в коридоре вместе со всеми. Смотреть на Толика. На каталку. На эти его сжатые до белых костяшек пальцы на колесах. На мужиков, которые сейчас парня со вторым рождением поздравляют.

Мне бы радоваться.

Фиксировать результат.

Думать: получилось.

А я вместо этого бездумно, почти вслепую врываюсь обратно в палату.

— Вероника!

Она стоит у стены.

И сначала я вижу только слезы.

Мокрые дорожки на щеках. Распахнутые глаза. Рот приоткрыт, грудь ходит рвано, часто, будто она пытается вдохнуть, но воздух не проходит. Не цепляется внутри. Не становится дыханием.

И ни звука.

Вот это пугает сильнее всего.

Не рыдания. Не истерика.

Тишина.

— Белова!

Она медленно переводит на меня взгляд.

И я понимаю.

Она еле держится.

В прямом смысле.

На ногах.

У нее колени дрожат. Пальцы впились в спинку кровати, но уже соскальзывают. Плечи мелко трясутся, как у человека после шока, когда все самое страшное уже сделано, а тело только сейчас догоняет: ты мог не выдержать.

— Да что б вас…

Рычу скорее себе, чем ей, и успеваю ровно в тот момент, когда она начинает оседать.

Нет.

Я не обнимаю ее.

Не думаю об этом так.

Просто подставляю руки.

Подхватываю.

А она тут же виснет на мне всем своим небольшим, горячим, обмякшим весом.

И это почему-то вышибает из меня воздух.

Вот так просто.

Примитивно.

Без всякой романтики.

Человек отдал все силы другому человеку и теперь сам не

может стоять.

Ее лоб ударяется мне в грудь. Пальцы хватают халат где-то у ребер, сминают ткань. Дыхание — прямо сквозь меня. Рваное, влажное, обжигающее даже через хлопок. От нее почему-то пахнет не больницей, а чем-то терпким. И безумно вкусным. Как кофе с гвоздикой. Именно такой аромат.

— Тише, тише, тише…

Я не собирался ее утешать.

Оно само выходит.

Как дыхание.

Как рефлекс.

Одной рукой держу ее за спину, второй накрываю затылок. Пальцы скользят по туго стянутым волосам, цепляют резинку. Она вздрагивает от прикосновения, но не отстраняется. Наоборот — вжимается сильнее, будто если отпущу, она развалится прямо здесь, на полу.

Не отпущу.

Не сейчас.

— Вероника, вы большая молодец.

— Вы… вы… — из ее груди наконец вырывается звук.

Не плач даже.

Сломанный, короткий, почти беззвучный всхлип.

Меня от него дергает изнутри так, будто кто-то резко потянул за нерв.

— Он так смотрел…

— Плевать, как он смотрел, главное, что встал, — выды-

хаю зло.

Я перехватываю ее удобнее, прижимаю к себе крепче. Почти заслоняю собой от палаты, от коридора, от Толика, от всего мира, который вечно требует от нее невозможного.

Удержать.

Уберечь.

Успокоить.

— Он же герой! — стонет она мне в грудь. — Он же… он же там… А я… Вы бы видели его глаза!

— Герой, штаны дырой, — скалюсь, стискивая зубы так, что сводит челюсть. — Толку от его героизма, если он с потолком разговаривает? Сейчас тут герой — вы.

— Он же без ног совсем…

Она утыкается лбом мне куда-то под ключицу.

Я закрываю глаза на секунду.

Вдыхаю ее волосы.

Держу.

— Как он жить-то будет? — шепчет она. — Адам Рустамович, как он жить будет?

— Главное, что будет, — говорю ей почти в макушку.

Голос выходит низкий, хриплый.

Не врачебный.

Мой.

— Слышите? Главное, что будет. На одну культю протез можно. Со второй сложнее, но тоже будем думать. Костыли. Тренировка спины. Да черт с ним, сейчас куча профессий,

где можно с утра до ночи сидеть. Работать можно. Учиться можно. Жить можно.

Она замирает.

Словно слушает не меня, а саму возможность.

Я чувствую, как постепенно меняется ее дыхание. Все еще рваное, но уже не такое бездонное. Она вцепилась в меня обеими руками. Крепко. Почти больно. Но я даже вздохнуть глубоко боюсь, чтобы ее не спугнуть.

— Главное, чтобы хотел, — продолжаю я тише. — Жить. Дышать. Работать. Ругаться. Ненавидеть всех нас. Да хоть на Бога с потолка орать. Неважно. Пусть орет. Это уже жизнь.

Она сглатывает.

Шумно.

С трудом.

— Я ему больно сделала…

— Да.

Она дергается.

Я сильнее прижимаю ладонь к ее затылку.

— Да, — повторяю, не давая ей отстраниться. — Сделали. А как иначе, Вероника? Он не встанет от ласковых слов. Он уже столько их наслушался, что мог бы ими стены обклеить. Вы попали туда, где еще живое было. Вот и больно.

Она затихает.

Совсем.

Только пальцы продолжают судорожно мять мой халат.

А у меня сердце стучит слишком сильно.

Неправильно сильно.

Будто я не в палате стою, а снова над открытым животом, и счет идет на секунды.

— И встряхнули его вы, — говорю уже почти шепотом. — Не я. Не реабилитолог. Не сестры. Вы.

Я заставляю себя чуть отстраниться.

Не отпустить.

Нет.

Только настолько, чтобы увидеть ее лицо.

Бледное. Мокрое. Растерянное. С распухшими губами и глазами, в которых еще стоит ужас от того, что она сделала.

И я вдруг понимаю, что хочу забрать этот ужас себе.

Целиком.

Вырвать из нее, как осколок из раны, сжать в кулаке и выбросить.

Глупость.

Невозможно.

Но я хочу.

— Вы сделали для него то, что не смог сделать даже я, — говорю тихо. — Мы ему жизнь сохранили, Ника. А вы ему ее вернули.

Она поднимает глаза.

И все.

Мир останавливается.

Просто исчезает больничный запах, коридор, голоса, каталка, Толик, мои собственные правила, мой опыт, моя осто-

рожность, вся моя взрослая, выжженная, удобная пустота.

Остаются только ее мокрые ресницы.

Ее горячее дыхание у меня на груди.

Ее пальцы, все еще сжатые на моем халате.

И мои руки на ней.

Слишком крепко.

Слишком близко.

И у меня внутри что-то рушится.

В этот момент я понимаю, что мой мир никогда больше не будет прежним.

.

# Глава 11

***Ника***

Мой мир больше не будет прежним.

Я поняла это не сразу.

Не в тот момент, когда Адам Рустамович держал меня в палате Толика, а я рыдала ему в халат и пыталась не развалиться на части. Не тогда, когда он сказал, что я вернула человеку жизнь. Не тогда, когда впервые назвал меня Никой так, будто это имя вдруг стало чем-то важным.

Нет.

Все менялось медленно.

Почти незаметно.

Но настойчиво.

Как капельница: капля, пауза, капля.

И однажды ты понимаешь — лекарство уже в крови.

— Боец, что ты себе позволяешь?

Голос Тарханова гремит за моей спиной так, что я едва не роняю тазик.

Я вхожу в палату, а там мужчина после операции.

Да, ему тяжело. Очень тяжело. Живот обожжен, повязки, катетер, лицо серое от боли и злости. Тут любому не до приличий. Но…

Но полностью голым-то зачем лежать?

Я замираю у порога, чувствуя, как жар мгновенно подни-

мается к щекам.

— В отделении работают женщины, — произносит Тарханов таким голосом, каким, наверное, можно останавливать не только кровотечение, но и вражескую бронетехнику. — Прикройся.

Мужик лет сорока, крепкий, с татуировками на плечах и взглядом “я сам кого хочешь прикрою”, вдруг смущается.

По-настоящему.

Морщится, сопит, будто его не голым застали, а на детском утреннике в костюме зайчика, и дергает простыню на бедра.

Я стою с тазиком, полотенцами и совершенно неприличным желанием заулыбаться.

Не улыбаюсь.

Почти.

— Простыню не выше повязки, — сухо добавляет Тарханов.

И проходит мимо меня так, будто ничего особенного не произошло.

А у меня внутри что-то делает маленькое, глупое: “ой”.

Потом — другая палата.

— Ваши волонтеры ничего не умеют!

Это уже не герой и не боец.

Это мерзкий тип.

Есть такие пациенты, которых хочется жалеть на расстоянии. Потому что человек, кажется, решил: раз ему больно,

то теперь больно должно быть всем.

Он вечно недоволен.

То подушка не та.

То чай холодный.

То медсестра грубо посмотрела.

То я слишком резко простыню подтянула.

Даже уколы ему, кажется, стараются делать в последнюю очередь. Не из жестокости. Из инстинкта самосохранения.

Я стою у его койки и чувствую, как внутри медленно поднимается знакомое: потерпи, Ника. Промолчи. Ты здесь не для того, чтобы тебя любили.

— Если вы так считаете, — раздается рядом спокойный голос Тарханова, — волонтеры больше не будут вас трогать.

Пациент осекается.

Я тоже.

— Как это? — возмущается он. — Мне же надо…

— Сестры сделают необходимое по медицинским показаниям, — перебивает Адам Рустамович. — Все остальное — добрая воля людей, которые вам не прислуга.

Мерзкий тип открывает рот.

Закрывает.

Снова открывает.

— Вероника, — Тарханов даже не смотрит на меня, только чуть поворачивает голову. — Эту койку не перестилать, пожалуйста.

Я мысленно ликую так, что если бы мысли издавали звук,

в палате начался бы салют.

— Да, Адам Рустамович.

Голос у меня почти приличный.

Почти не торжествующий.

В коридоре я все-таки догоняю его.

— Спасибо, — шепчу быстро.

Не знаю почему шепотом.

Он останавливается.

Поворачивается.

И вдруг улыбается.

Почти мальчишеской открытой улыбкой.

Будто сам не ожидал, что умеет.

— Пожалуйста, Вероника. Не одной же вам следить за порядком.

У меня сердце делает странный кульбит.

Глупый.

Совершенно неуместный.

— Только я вас прошу, — добавляет он с самым серьезным видом, — не ругайте их за бахилы.

Я замираю.

Прямо посреди коридора.

— Адам Рустамович, — произношу я с укором.

Очень весомым.

Там же вся палата с ампутациями.

Он выдерживает секунду.

Вторую.

А потом глаза у него начинают смеяться раньше губ.

— Да-да, знаю, — быстро говорит он, отступая. — У меня отвратительное чувство юмора.

— Отвратительное, — подтверждаю я строго.

— Работаю над собой, — бросает он уже через плечо.

И уходит.

Почти убегает.

Но я слышу.

Он хохочет.

Низко, хрипло, неожиданно живо.

И я стою в коридоре, прижимаю к себе тазик и улыбаюсь, как полная идиотка.

Потому что отделение вдруг кажется не таким страшным.

Все еще тяжелым.

Все еще больным.

С запахом хлорки, лекарств, пота, перевязок и чужого отчаяния.

Но в нем появляется что-то еще.

Не свет даже.

Воздух.

Будто стало чем дышать.

В общем, работать мне стало легче.

Намного легче.

И вот именно поэтому, когда в приносят известие о новых поступающих, я почти не таясь кидаюсь к Елене Степановне.

— Вы же посмотрите? Пожалуйста. Рогожин. Вдруг там

есть Рогожин?

Старшая медсестра поднимает на меня глаза.

В них мелькает что-то такое, от чего мне сразу становится неловко.

Жалость?

Усталость?

Предупреждение?

Я не успеваю понять.

Потому что за моей спиной раздается:

— Белова.

И все тепло разом выдувает из коридора.

Голос у Адама Рустамовича совсем не тот, к которому я успела привыкнуть за эти странные дни.

Темный.

Жесткий.

Опасно спокойный.

Я медленно оборачиваюсь.

— Да, Адам Рустамович?

Он стоит в нескольких шагах.

Лицо закрытое. Скулы жесткие. Губы поджаты так, будто он удерживает слова, которые лучше не выпускать в коридоре. Взгляд темный, тяжелый, совсем не врачебный.

— Зайдите ко мне в кабинет.

Не просьба.

Приказ.

.

# Глава 12

***Адам***

Меня трясет.

По-настоящему.

Мелкой, злой дрожью, от которой пальцы становятся деревянными, а ладони — влажными.

Рогожин Марк.

Мать его так.

Рогожин Марк.

Марк Рогожин.

Имя крутится в голове, как заноза под ногтем. Сколько ни дергай — только глубже входит.

Я уже откладываю на последний момент списки поступающих. Только фамилии. Фамилии. Фамилии. И в каждой секунде — идиотское, мерзкое ожидание: сейчас. Сейчас увижу.

И если увижу — что?

Что я сделаю?

Пойду спасать ее жениха?

Разумеется.

Я врач.

Я обязан.

Я спасу любого, кого привезут в мое отделение.

Даже этого.

Особенно этого.

А потом, если он выживет, наверное, шею ему сверну.

Очень аккуратно.

С медицинским пониманием процесса.

— Адам Рустамович?

Белова заходит в кабинет осторожно.

Так осторожно, будто здесь не мой стол, не шкаф с историями болезни и не кресло для посетителей, а минное поле.

Глаза огромные.

Темные.

Испуганные.

Как у олененка, который уже слышит хруст ветки, но еще не знает, откуда выйдет хищник.

Да что ж ты такая?

Зачем ты меня боишься?

Не меня.

Только не меня.

Ты же…

Я стискиваю зубы так, что сводит челюсть.

Ты же мой свет в этом дерьме.

И именно поэтому я сейчас не имею права говорить мягко.

Если скажу мягко — сорвусь.

— Дай его полные данные, — рычу, не поднимая взгляда от бумаг.

Она замирает у двери.

— К-кого?

Я все-таки смотрю на нее.

И жалею сразу.

Потому что она распахивает глаза еще шире. В лице — страх, надежда, растерянность. Все разом. Слишком много для одной тонкой девчонки, которая и так держится на честном слове и упрямстве.

— Марка своего, — скалюсь.

Пытаюсь улыбнуться.

Честно пытаюсь.

Но чувствую, что выходит оскал.

Черт.

— Или ты думаешь, я не слышал?

Она не отвечает.

Только пальцы на ремешке сумки сжимаются.

— Я же тебе говорил, не спрашивать по отделению. — продолжаю жестко, потому что иначе голос выдаст меня с головой, — дай данные. Я пробью.

Белова делает шаг.

Один.

И замирает.

Словно не верит.

Словно мои слова до нее дошли, но смысл еще нет.

Потом шагает еще.

Медленно.

Очень медленно.

— У меня операция через двадцать минут, — предупреждаю, глядя на нее исподлобья. — Тут еще шагов пять. Время рассчитывай.

Она вдруг выдыхает.

Почти смеется.

Не от радости даже.

От облегчения, которое ударило слишком резко.

— Адам Рустамович…

В этом выдохе столько всего, что мне хочется встать и выйти.

Или подойти.

Лучше выйти.

Точно лучше выйти.

— Вот, — она торопливо достает телефон. — Сейчас. Сейчас, одну секунду.

Пальцы у нее дрожат.

Не сильно.

Но я вижу.

Разумеется, вижу.

Открывает карточку, протягивает мне экран.

Полные фамилия, имя, отчество.

Дата рождения.

Место рождения.

Институт.

Какие-то старые контакты.

Я беру ручку.

Мне противно.

До металлического привкуса на языке противно записывать его имя своим почерком. Противно впускать его в мой кабинет, в мои бумаги, в мое пространство.

Но я записываю.

Скрупулезно.

Буква за буквой.

Потому что если где-то есть шанс снять с нее этот ошейник вины — я его найду.

И если этот Рогожин жив — тоже найду.

К сожалению.

— Фотографии есть? — спрашиваю, не глядя на нее. — Свежие желательно.

— Есть, конечно есть.

Она все понимает.

Умненькая моя.

Черт.

Не моя.

Белова быстро забирает телефон, листает галерею. Большим пальцем прокручивает снимки слишком резко, потом возвращается назад, увеличивает что-то, снова листает.

Я вижу обрывки чужой жизни.

Красивые лица.

Дорогие машины.

Кафе.

Лето.

Ее улыбку рядом с ним.

И мне хочется отвести взгляд.

Не могу.

— Вот, — говорит она почти гордо и кладет телефон передо мной. — Он прислал уже после призыва.

Я смотрю.

Красивый.

Смазливая блондинистая сволочь.

Глаза светлые.

Улыбка уверенная.

Подбородок приподнят.

Позирует.

Не стоит.

Не держится.

Позирует.

Меня передергивает.

Но не от лица.

От формы.

Я медленно беру телефон.

Увеличиваю фото двумя пальцами.

Еще.

И еще.

Ткань.

Шеврон.

Ремень.

Положение оружия.

Пальцы на нем.

Внутри неприятно холодеет.

Не ревность.

Нет.

Профессиональное.

То самое, от чего позвоночник становится жестким, а зрение — острым до боли.

— А это что за маскарад? — спрашиваю тихо.

Белова вскидывает на меня глаза.

— Что?

— Это что за маскарад, Вероника?

— Это… — она запинается. — Это он уже после призыва прислал. Я же сказала. Он… он там.

Я не отвечаю сразу.

Смотрю на экран.

На оружие.

На рукав.

— Ник, — говорю я и сам слышу, как срывается привычная дистанция.

Она вздрагивает.

От имени.

От моего тона.

— Ник, это не наша форма.

Я разворачиваю телефон к ней, увеличиваю участок у плеча.

— Видишь? Вот это не так. И вот это. И оружие…

Я замолкаю.

Потому что надо бы заткнуться.

Прямо сейчас.

Остановиться.

Сказать: “я уточню”.

Сказать: “может, я ошибаюсь”.

Сказать что угодно, чтобы не ломать ее об это сразу.

Но поздно.

Она уже побледнела.

Губы приоткрылись.

Дыхание остановилось.

Она все поняла раньше, чем я договорил.

Умная.

Господи, какая же умная.

И как же больно ей сейчас будет.

— Ника, — говорю тише.

Зря.

От этого имени у нее дергается подбородок.

— Это может быть монтаж. Или нейросеть. Или постановочное фото. Но наши бойцы так не выглядят, — заканчиваю я уже почти шепотом. — Не так.

.

# Глава 13

***Адам***

– Этого не может быть…

И еще улыбается.

Почти улыбается.

Только улыбка уже не живая. Приклеенная. Натянутая на лицо, как пластырь на открытую рану. Держится из последних сил, а под ней всё равно проступает кровь.

– Он, конечно, не образец ответственности, – Ника тихо смеется, но смех выходит ломкий, чужой, – но не настолько.

Она выхватывает у меня телефон.

Не грубо.

Скорее отчаянно.

Так, будто в моих руках сейчас не телефон, а приговор, и если забрать его, то приговор можно будет отменить.

Она делает шаг назад.

Еще один.

– Да елки-палки! – я вскидываю руки, потому что уже сам начинаю злиться.

Не на нее.

На него.

На себя.

На эту дурацкую правду, которая влетела в кабинет и разнесла всё, к чему я вообще не имел права прикасаться.

– Ну не веришь мне — спроси других бойцов! Да что я… – резко встаю из-за стола, прохожу к окну, разворачиваюсь, снова делаю шаг к ней и останавливаюсь. – Мне зачем врать?

– Я не знаю, – шепчет она.

Голос у нее дрожит.

И это хуже крика.

– Но этого просто не может быть. Он не мог это выдумать. Это… Это…

Она снова смотрит в экран.

А я вдруг вижу, как у нее меняется дыхание.

Короткое.

Рваное.

Как будто воздуха в кабинете стало меньше. Как будто стены сдвинулись, а дверь исчезла. Она моргает слишком быстро, потом перестает моргать совсем. Пальцы, сжимающие телефон, белеют.

И меня прошивает холодом.

С ней начинается истерика.

Не шумная, не театральная.

Настоящая.

Та, после которой человек уже не слышит, что ему говорят.

– Это же не по-людски совсем, – выдыхает Ника. – Это низко. Подло. Это… это…

– Ника!

Она не реагирует.

– Ника!

Я сам не понимаю, как оказываюсь рядом.

Только что стоял у окна — и вот уже перед ней. Забираю телефон, кидаю его куда-то на стол, даже не смотрю, попал или нет. Мне плевать. На телефон, на стол, на всё.

– Ну что ты, Ника… – говорю и сам слышу, как хрипло выходит.

Беру ее за плечи.

Она мелко трясется под моими ладонями. Вся. Как замерзшая. Как испуганная до смерти. Только это не страх за жизнь.

Хуже.

Это когда у человека прямо на глазах отнимают то, во что он верил.

– Ника, посмотри на меня.

Она смотрит.

И всё.

У меня внутри что-то сворачивается в узел.

Глаза у нее мокрые. Огромные. Детские почти. Только боль в них совсем не детская. Не первый раз предали. Не первый раз бросили. Но, видимо, впервые так мерзко. Так демонстративно. Так, чтобы потом еще самой стыдно было за то, что поверила.

– Я ошибся, – выпаливаю я.

Господи, что я несу?

– Слышишь? Я ошибся. Да я эту форму-то… – отмахива-

юсь, потому что цепляюсь уже за любую чушь, лишь бы не видеть, как она ломается. – Я ее в основном разорванную и в крови вижу. Конечно, я мог ошибиться. Ника. Ника, ну послушай меня. Я ошибся!

Но она не слышит.

– Он обманул, да? Он во всем обманул? – спрашивает она меня, словно я могу знать.

Дико хочется сказать: да.

Да, Ника.

Обманул.

И ни одной твоей слезинки он не стоит. Ни одного ноготка. Ни одного волоска. Ни одного этого дрожащего вдоха, который ты сейчас не можешь протолкнуть через горло.

Но вслух я выдыхаю:

– Ника, нет.

Она отстраняется.

Не полностью.

Только чтобы посмотреть мне в лицо.

И это добивает окончательно.

Слезы уже текут по щекам. Тихо, беззвучно, почти стыдливо. Она будто даже плакать себе не разрешает нормально. Только губы дрожат.

Я поднимаю руки.

Ловлю ее лицо в ладони.

Такое горячее.

Мокрое.

Живое.

Господи.

Пальцами стираю слезы с ее щек и ненавижу себя за то, что касаюсь. За то, что хочу касаться. За то, что даже в этот момент какая-то часть меня замечает мягкость ее кожи, дрожь губ, теплое дыхание у моих пальцев.

– Ника, я умоляю тебя, не плачь.

Глупая просьба.

Самая бесполезная из всех.

Как будто слезы подчиняются приказам. Как будто боль можно остановить словами.

– Почему он так? – спрашивает она.

Поднимает ко мне глаза, темные, мокрые, обрамленные слипшимися ресницами.

– За что он так со мной?

И внутри меня нет ни одного ответа.

Ни одного правильного.

Ни одного врачебного.

Ни одного взрослого.

Внутри меня в этот момент вообще ничего нет.

Только дикая, звенящая пустота.

И желание.

Одно-единственное.

Страшное своей простотой.

Не объяснять.

Не утешать.

И я не говорю. Я опускаю лицо и целую ее в губы.

.

***Ника***

Губы Адама касаются моих.

И мир замолкает.

Не красиво.

Не как в кино.

Просто будто кто-то резко выключает звук.

Исчезает кабинет. Исчезает стол. Исчезает телефон, валяющийся где-то рядом. Исчезают все эти страшные слова, от которых внутри разошлась черная трещина. И даже Марк с его обвинениями и обманом исчезает.

Остается только Адам.

Его ладони на моем лице.

Горячие.

Большие.

Осторожные и нетерпеливые одновременно.

Его дыхание.

Его запах — больница, мыло, кофе, усталость, что-то горькое, мужское, невозможное.

И его губы.

Я должна оттолкнуть его сразу.

Должна.

Но не могу.

На какую-то жалкую, позорную секунду я просто стою и позволяю ему целовать меня. Потому что на мгновение я

безумно хочу ощущать только это: его губы, его дыхание. И этот неправильный, невозможный поцелуй, который обещает не объяснить, не доказать, не исправить — а просто закрыть собой от всего на свете.

И я вдруг отвечаю.

Не головой.

Телом.

Пальцы сами цепляются за его халат. Я слышу собственный всхлип, чувствую, как он проходит у меня через грудь и ломается где-то у него на губах. Адам целует крепче, и меня качает к нему, как будто я правда могу упасть и только он удержит.

На секунду мне кажется: вот.

Вот так можно.

Можно просто закрыть глаза.

И пусть всё исчезнет.

Но именно в эту секунду я понимаю.

Не исчезнет.

Ничего не исчезнет.

Ни Марк.

Ни ложь.

Ни то, что я еще не знаю правды.

Ни то, что я сама сейчас делаю.

Господи.

Я сама сейчас делаю.

Меня будто обливают ледяной водой.

Я резко отстраняюсь.

Не бью.

Не толкаю.

Просто вырываюсь, отшатываюсь назад и упираюсь ладонью в грудь, туда, где сердце колотится так сильно, будто хочет пробить ребра и сбежать раньше меня.

– Нет, – выдыхаю я.

Адам замирает.

Лицо у него такое, будто он только сейчас понял, что сделал.

А я смотрю на него и не могу понять, чего во мне больше — боли, стыда или ужаса от того, как сильно мне на секунду захотелось остаться.

– Ника…

– Нет, – повторяю уже тверже. – Еще ничего не понятно, – говорю я. – Ничего. Вы сами сказали: могли ошибиться.

Он молчит.

И это молчание страшнее любого ответа.

– Я не знаю, что там с Марком, – продолжаю я, чувствуя, как слезы снова подступают к глазам. – Не знаю. Может, он соврал. Может, вы ошиблись. Может, я последняя идиотка на этой земле.

Я сглатываю.

Горло болит.

Как после крика, которого не было.

– Но я не умею так, Адам Рустамович.

Он чуть дергается, услышав от меня свое отчество.
Правильно.
Пусть так.
Я набираюсь смелости и повторяю:
– Я не умею предавать.
.

# Глава 14

***Адам***

Ледяная тишина…

Внутри.

Да и вокруг.

Она выбежала из кабинета, умудрилась не хлопнуть дверью, но…

Но воздух остался прежним.

С ароматом ее волос, с дрожью от ее дыхания, с солоноватым вкусом ее поцелуя…

И я стою посреди этой крошечной комнатки, словно в своей параллельной реальности. Навсегда застрявший в том моменте. За секунду до того, как она произносит: "Я не умею предавать"

И сквозь эту толщу льда, в который вдруг превратилась реальность, сковавшая меня, я отчетливо понимаю: я больше не смогу.

Я не смогу пройти по тому коридору, зная, что она там.

Я не смогу защищать ее от бойцов, разозленных своей болью.

Я не смогу…

Я врач.

Я хирург.

Я видел людей без конечностей. Видел раскрытые груд-

ные клетки. Видел глаза тех, кто еще минуту назад просил передать жене, что он успеет вернуться.

Я умею держать руки ровными, когда вокруг обстрел.

Умею принимать решения, когда на кону минуты.

Умею не чувствовать до тех пор, пока чувствовать нельзя.

Но сейчас мне нечем держаться.

Я больше не смогу.

Совершенно не понимая, что делать, сажусь за свой компьютер. И тут в рабочей почте вижу письмо…

На мониторе светится забавный белый конвертик.

И это даже смешно.

Мир не рухнул.

Письма приходят.

Списки обновляются.

Кто-то где-то нажимает “отправить”, потому что у госпиталя есть график, у отделения есть койки, у раненых есть фамилии, даты рождения, диагнозы, маршрутизация.

У всего есть порядок.

Кроме меня.

Я кладу руку на мышь.

Открываю письмо на автомате.

Списки поступающих.

Глаза двигаются по строкам, а мозг не успевает за ними. Он всё еще стоит посреди кабинета. Всё еще чувствует ее губы. Всё еще слышит: “Я не умею предавать…”

Молодец, Ника.

Господи, какая же ты молодец.

А я — нет.

Смотрю в таблицу.

Фамилии.

Имена.

Отчества.

Годы рождения.

Тяжесть состояния.

Предварительные диагнозы.

Куда класть. Кого сразу в операционную. Кого в реанимацию. Кого на перевязку. Кого к травматологам. Кого ко мне.

Мышь под ладонью кажется чужой. Пластик холодный. Большой палец лежит на боковой кнопке, и я почему-то чувствую его слишком отчетливо. Как будто всё тело исчезло, а остался только палец на мышке и белый экран.

Взгляд скользит вниз.

Еще строка.

Еще.

И останавливается.

Мозг еще не успел понять, а глаза зацепились.

Рогожин Марк Андреевич.

Дата рождения.

Фамилия.

Имя.

Отчество.

Полностью.

Он в списках.

Перечитываю еще раз.

И моя рука так и остается на мышке.

Все.

Точка.

Это он.

Все кончилось.

Я медленно, не отводя взгляда от экрана, поднимаю трубку и набираю внутренний номер нашего начмеда…

– Сергеич, – зову хрипло старого товарища, – Ты говорил тебе хирурги в полевые госпиталя нужны? Ну и что, что только приехал!

Я смотрю на строку на экране.

Рогожин Марк Андреевич…

– Мне там легче… – отзываюсь хрипло, – Да… Согласен… Есть, завтра быть готовым.

И также медленно, не отводя взгляда, кладу трубку.

Я снова смотрю на экран.

Рогожин Марк Андреевич.

Все.

Все кончилось.

.

***Ника***

Я совершенно позорно не пошла в госпиталь.

Позвонила и сказала Елене Степановне, что мне надо

уехать. И я и правда уехала. Недалеко, конечно. Тут, в области… Всего сорок километров от Москвы.

Можно было бы и не ехать, конечно, но я не могла. Вот просто безлико отправить и получить ответ не смогла.

Слова Адама…. Рустамовича.

Я настойчиво заставляю себя звать его по имени и отчеству.

Слова Адама Рустамовича не давали мне покоя, и я созвонилась со своей одноклассницей.

Маринка. Тощая, нескладная, в очках…

Поступила на информационные технологии, но уже на третьем курсе бросила, потому что учеба мешала ей работать.

Я не знаю, чем занимается Маринка, но она купила родителям роскошный дом.

Сама в нем занимает крохотную каморку под крышей. И все такая же тощая, нескладная и в очках.

Маринка гений. Она сможет. Она опознает…

– Добрый день, – ворота мне открывает незнакомый мужчина, – А это дом…

– Проходите, вас ждут, – не дождавшись моего вопроса отзывается мужичок.

И я понимаю, что он тут вроде охранника и садовника.

Ух ты…

Наверное, быть гением сейчас очень прибыльно.

– Наверх, пожалуйста, – указывает мне мужчина.

И я послушно прохожу по лестнице.

– Марин, – стучусь, – Привет!

– Там вещи с дивана скинь и садись! – не оборачиваясь указывает мне она, – Я сейчас.

"Сейчас" занимает минут двадцать.

Но я сижу, не шевелясь.

Жду.

Думаю, что могу выглядеть дурой.

Но…

– Давай, что там у тебя, – оборачивается Маринка.

И в этот момент я понимаю: для нее существует только работа. Ей вообще все равно, дура я или как.

– Вот, – протягиваю открытое фото, – Можно как-то определить, оно настоящее или монтаж?

– В мессенджер перешлешь? – лишь мельком мазнув взглядом по экрану, спрашивает Маринка.

Я киваю, судорожно тыкаю в смартфон, нахожу Маринку, нажимаю "переслать"...

А дальше повисает тишина.

Недолгая.

Минуты три…

– Тебе оригинал восстановить? – вдруг совершенно равнодушно спрашивает она.

И у меня все ухает в бездну…

Оригинал.

Восстановить.

Значит, Адам не ошибся.

Значит, это была подделка.

– Восстановить, – еле слышно шепчу я.

И спустя две минуты вижу на мониторе вместо окопа бассейн. Вместо автомата зажатую в руке бутылку пива. А вместо сослуживцев…

По краю бассейна сидят девицы. Три. Две из трех топлесс.

– Все! – совершенно довольная своей работой оборачивается Маринка.

– Все, – киваю я, чувствуя вместо желудка жгучую тянущую воронку, – Я тебе чего должна?

Она вдруг распахивает глаза, словно я сказала несусветную глупость.

Но тут же меняет выражение лица:

– Да! Должна! Вытащи меня в следующем месяце из дома. Парк, клуб, шоппинг – вообще плевать! Главное, чтобы я оторвалась от работы! Только не в начале месяца, там у меня большой проект, и не двадцатого числа, и не…

– Я позвоню, – киваю, – вытащу, обязательно! Да… Я… Смогу…

Поднимаюсь, пошатываясь.

Прислоняюсь щекой к щеке подруги.

Она бросает на меня обеспокоенный и одновременно неодобрительный взгляд, но у нее что-то пиликает в компьютере, и она, забыв сказать "Пока" натягивает объемные наушники.

И дальше я уже слышу английскую речь.

Все.

Медленно, крепко держась за перила, я спускаюсь вниз. Ступенька. Вторая.

Все…

Растерянно киваю работнику, который, кажется, предлагает воды…

Все…

Думаю о том, что я просто обязана теперь появиться в госпитале.

И о том, что я просто физически теперь не могу появиться в госпитале.

Все…

И тут у меня звонит телефон.

Тот самый, на котором до сих пор открыта фотография Марка. В форме. С винтовкой, нарисованной нейросетью.

Чуть морщась, я принимаю звонок. Я вижу звонящего. Это важно.

– Да, Елена Степанна?

– Ника! – слышу восторженный голос старшей сестры отделения, – Он тут! Тут!

– Адам Рустамович? – задаю совершенно дурацкий вопрос.

Где же ему быть, как не там. Он там. Всегда. Это нормально.

– Причем тут Тарханов? Марк! – вдруг выкрикивает стар-

шая, – Марк Рогожин! В списках поступающих! Сейчас привезут эшелон! Ника! Твой Марк!

Она что-то еще кричит в трубку, захлебываясь от восторга, а я медленно отвожу трубку и смотрю на экран.

Окоп - бассейн. Автомат - пиво. Сослуживцы - девочки…

Он поступил в госпиталь.

Марк Рогожин.

.

# Глава 15

***Ника***

Я не знаю, что скажу ему.

Вообще не представляю, какие слова можно сказать человеку после такого.

В голове — звенящая тишина.

Нет. Не так.

В голове маленькая я сжалась в тугой комок, зажала ладонями уши и кричу. Громко, из последних сил, до боли в горле, до самого конца дыхания:

«А-а-а-а-а!»

Потому что это невозможно.

Всё это просто невозможно.

Как теперь быть? Как смотреть ему в глаза? Что вообще означает эта фотография?

Он всё-таки был на СВО?

Тогда зачем соврал?

Зачем были все эти голосовые, в которых он умирающим голосом тянул:

«Из-за тебя, Ника… Всё из-за тебя…»

На машине он разбился тоже из-за меня.

Так он говорил.

Расстроился, что я сбежала. Психанул. Выжал педаль в пол. Не справился с управлением.

И на СВО пошёл из-за меня.

Чтобы отработать.

Чтобы забыть.

Забыть моё предательство.

Он шептал это срывающимся голосом, заплетающимся языком, иногда замолкал надолго, словно ему не хватало сил даже дышать.

«Я здесь, потому что ты меня предала, Ника».

А он правда был там?

Или всё это время лежал возле бассейна, пил коктейли и фотографировался с девочками?

В госпиталь я лечу прямо от Маринки.

Без сумок с носками и шоколадками. Без заготовленных на складе гум помощи пелёнок. Без привычных пакетов, которые всегда оттягивают мне руки и бьются о колени.

Просто бегу.

Электричка. Автобус. Потом немного пешком.

Сердце колотится где-то у горла. Воздуха не хватает. Под курткой мокрая спина, но мне то жарко, то вдруг знобит так, что зубы хочется стиснуть.

У служебного входа я едва не врезаюсь в старшую.

— Елена Степановна?

Она уже уходит домой — в пальто, с сумкой на плече, уставшая, но, увидев меня, сразу улыбается.

— Иди, иди, девочка, — покровительственно говорит она. — В седьмую его положили.

Я даже не успеваю спросить, кого именно.

Не успеваю сказать спасибо.

Как-то криво улыбаюсь, хватаю её за руку, будто мне нужно за что-то удержаться, делаю шаг и тут же отпускаю.

Она думает, что я лечу на крыльях любви.

Что дождалась.

Что нашла.

Что сейчас брошусь к нему, обниму и буду плакать от счастья.

А я…

Я не знаю, что со мной.

Лестница.

Пролёт.

Ещё один.

Второй этаж.

Отделение.

— Ника, ты хоть халат накинь! — кричит мне постовая сестра.

Я торможу так резко, что едва не врезаюсь в стойку.

Пальцы не слушаются. Завязка халата выскальзывает, рукав выворачивается, я никак не могу попасть в него рукой.

Медсестры даже не спрашивают.

Они все знают.

Я всех своим вопросом замучила. Каждый раз, когда привозили новую партию раненых, прибегала и спрашивала:

«Рогожин Марк есть? Марк Рогожин поступал? Посмот-

рите, пожалуйста».

— Койка у окна, — кивает сестра всё с той же доброй, понимающей улыбкой. — Только не пугайся, — строго поднимает палец. — Сказали, всё обойдётся.

У меня внутри что-то обрывается.

Всё обойдётся.

Значит, ранен.

Значит, это действительно он.

Седьмая палата здесь.

Мимо столовой. Мимо процедурной. Туалеты, хозяйственный блок и…

Я останавливаюсь перед дверью.

Рука ложится на ручку, но открыть её сразу не получается.

Что я скажу?

«Привет, Марк»?

Или:

«Марк, ты мне врал?»

А вдруг фотография старая?

А вдруг Маринка ошиблась?

А вдруг у него была причина?

Господи, пусть у него будет причина.

Пусть сейчас он посмотрит на меня и всё объяснит так, что эта страшная, безумная головоломка вдруг сложится.

Я тихо открываю дверь.

Время ещё не позднее, но здесь есть тяжёлые. Они могут уже спать.

В палате полумрак. Горит только лампа над раковиной и холодный свет из коридора ложится на пол узкой полосой.

Шесть коек.

Кто-то смотрит что-то в телефоне без звука. Кто-то тихо переговаривается. Один боец лежит с закрытыми глазами, другой, заметив меня, приподнимает голову.

Я почти никого не вижу.

Только окно.

И койку возле него.

Там, под одеялом, на боку, отвернувшись от двери, лежит мужчина.

Плечи. Коротко остриженные волосы. Забинтованная рука поверх одеяла.

Я делаю шаг.

Потом ещё один.

Колени дрожат так сильно, что я боюсь: сейчас подогнутся.

Он здесь.

Действительно здесь.

Живой.

— Марк? — зову я едва слышно.

Мужчина вздрагивает.

Оборачивается быстро, почти резко.

И на меня смотрит совершенно незнакомое лицо.

.

– Вы кто? – я медленно оседаю на стул у стены.

В этой палате есть старенькие. Есть те, которых я уже настойчиво спрашивала.

Один из них приподнялся на локте, второй осадил первого резким взмахом.

Но мне не до них.

Мне не до кого.

Мне только понять…

– Вы… – мой голос срывается.

– Марк Андреевич Рогожин, – чуть раздраженно отзывается боец.

Он произносит это имя спокойно. Привычно. Как своё.

А лицо — чужое.

Совершенно.

Обычный такой мужичок.

Даже симпатичный.

Высокие скулы, глубоко посаженные глаза.

Только вот озирается все время нервно, словно чего-то боится.

– Вы родились седьмого мая двутысяче первого?

– Да. – отвечает он недовольно.

– Ваш отец Андрей Семенович Рогожин…

Парень медленно приподнимается, опираясь здоровой рукой о матрас.

– Да, – выпячивает подбородок парень, – А что за допрос?

– И вы учились в МФТИ? Ушли добровольцем?

На секунду в его лице что-то меняется.

Совсем чуть-чуть.

Но я вижу.

Испуг.

Он тут же прячет его за раздражением.

– Девушка, вам чего надо? – вдруг повышает голос он, – Вы кто вообще такая?

– Я? – чуть вскидываю брови, хотя понимаю, что мой взгляд растерянно замер на этом незнакомом лице, – Я, выходит, ваша невеста…

.

Он ругается, неловко встает, гневно смотрит на меня, выходит в коридор.

Движения у него резкие, дёрганые. Будто ему не больно даже — будто ему страшно оставаться со мной в палате под взглядами остальных.

– Это просто совпадение, – бросает он и, сердито глянув на меня, – Мало ли Марков Рогожиных?

– Мало, – шепчу я побелевшими губами.

Я тоже вышла следом за ним в коридор.

– Девушка, что я вам плохого сделал? Если вы невеста, то знать все о женихе должны? Мне вы никто!

– Это точно… Вам я никто… – повторяю я, как во сне, – Марку Рогожину я никто…

– Девушка! – раздраженно останавливается он.

И я только сейчас понимаю, что он, вроде как, идет в туалет, а я, шаг в шаг иду за ним.

– Простите, – шепчу, приходя в себя, – Этого просто не может быть. Такого совпадения не может быть!

Он уже берётся за ручку двери, но замирает.

Несколько секунд смотрит на меня.

Злость на его лице понемногу сменяется чем-то другим. Страхом. Усталостью. Может быть, жалостью.

– Да поймите же вы, – вдруг понижает он голос и опять испуганно озирается, – Мне семью кормить надо!

Я молчу.

Не понимаю, к чему он это.

– У меня дочка больная! Ей операцию! А квоту не дают! – он аж вздрагивает и снова оглядывается,

– Причем здесь я? – спрашиваю растерянно.

– Отстаньте от меня, – шепчет зло, – И… – в его глазах мелькает что-то вроде сочувствия, – Забудьте вы своего Марка Рогожина.

И перед моим носом хлопает дверь мужского туалета.

А я стою.

Как огорошенная. Как оглушенная.

Он не однофамилец.

Он знает…

А я… Мне остается только забыть.

Наверное, это единственное, что действительно надо сделать…

Забыть…

Все его голосовые.

Все ночные разговоры.

Все хриплые признания, после которых я часами плакала и ненавидела себя.

Его аварию.

Его войну.

Его боль, которую он так заботливо, так умело возложил на мои плечи.

Забыть.

Нет.

Не единственное.

Я еще должна извиниться.

Перед человеком, который с самого начала был прав.

Перед человеком, которому я не поверила.

Я не знаю, как посмотрю ему в глаза. Не знаю, что скажу. Не знаю, хватит ли у меня смелости признаться, что он видел правду, а я защищала ложь.

Но я должна.

Я медленно иду к посту.

Ноги почти не слушаются. Кажется, что подошвы прилипают к полу и каждый следующий шаг приходится вытаскивать из себя силой.

— Марин…

Медсестра поднимает голову.

Улыбка на её лице тут же гаснет. Она смотрит на меня удивлённо и встревоженно — явно не такой ожидала увидеть после встречи с «женихом».

Но я ничего не буду объяснять.

Не сейчас.

Потом, может быть.

Что-нибудь придумаю.

Скажу про однофамильца. Про ошибку в списках. Про невероятное совпадение.

Совпадения ведь бывают.

Наверное.

— Марин, а Тарханов сегодня как дежурит?

— Тарханов? — она удивлённо вскидывает брови. — А ты что, не знаешь?

У меня внутри всё замирает.

— Чего не знаю?

Марина смотрит на меня ещё внимательнее.

— Он уехал.

— К-куда? — переспрашиваю я, уже заранее чувствуя, как под ногами начинает расползаться пол.

Она тяжело вздыхает.

— Снова за ленточку. Сам зачем-то попросился.

— Сам?

Это слово обжигает горло.

Проваливается ниже — в грудь, под рёбра, а потом будто растекается огнём по всем внутренностям.

Сам.

Не отправили.

Не вызвали.

Не поставили перед фактом.

Он попросился.

— Сам, — подтверждает Марина и пожимает плечами. — Улетел утром. Бортом санавиации.

И в этот момент земля у меня уходит из-под ног.

.

# Глава 16

***Адам***

Когда-то человек жил очень просто.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.